

19.515к
7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

АТАКА

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
А Л Ь М А Н А Х

АПП—ИПО

№ 1



ИВАНОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

1930

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

Цена 1 руб. 50 коп.

ВНИМАНИЕ К БИБЛИОТЕКАМ.

Ивановски Областным Отделением
Государственного Издательства

О Р Г А Н И З О В А Н

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР,

КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ:

Комплектование библиотек всех типов.

Выполнение заказов на пополнение существующих библиотек рекомендованной литературой по всем вопросам.

Систематическое снабжение библиотек новинками по специальной договоренности.

Полную библиотечную обработку книг (переплет, шифровка, снабжение аннотированными карточками, книжными формулярами, карманчиками, листами сроков).

Снабжение библиотек предметами библиотечной техники (ящики, витрины, инвентари и т. д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КОЛЛЕКТОРА

консультирует библиотеки по вопросам комплектования и работы с книгой.

При библиографическом кабинете — библиотека образцов и рекомендательные каталоги.

По договоренности библиотечный коллектор предоставляет КРЕДИТ до 6-ти месяцев.

ЗАПРОСЫ И ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ:

Иваново-Вознесенск, ул. Красной армии, д. № 2/4. Телефон № 3-21.

АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

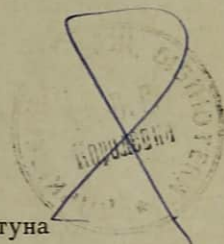
АТАКА

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ
А Л Ь М А Н А Х

№ 1

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

В. Залесского, А. Ноздрин и Е. Пестуна



73



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. Иваново- 1 9 3 0 Вознесенск

-- 2010



Кр. 19. 515

Ярполиграфтрест
„Октябрьская“ типо-дитография
Республиканская, 47.
Окрлит № 3203. Заказ № 2832
Тираж 2500.
ГИЗ № 34331 ИВ. Инд. П. 13.



ОТ РЕДАКЦИИ.

Альманах областной ассоциации пролетарских писателей является первым совместным выступлением пролетарских писателей нашей области.

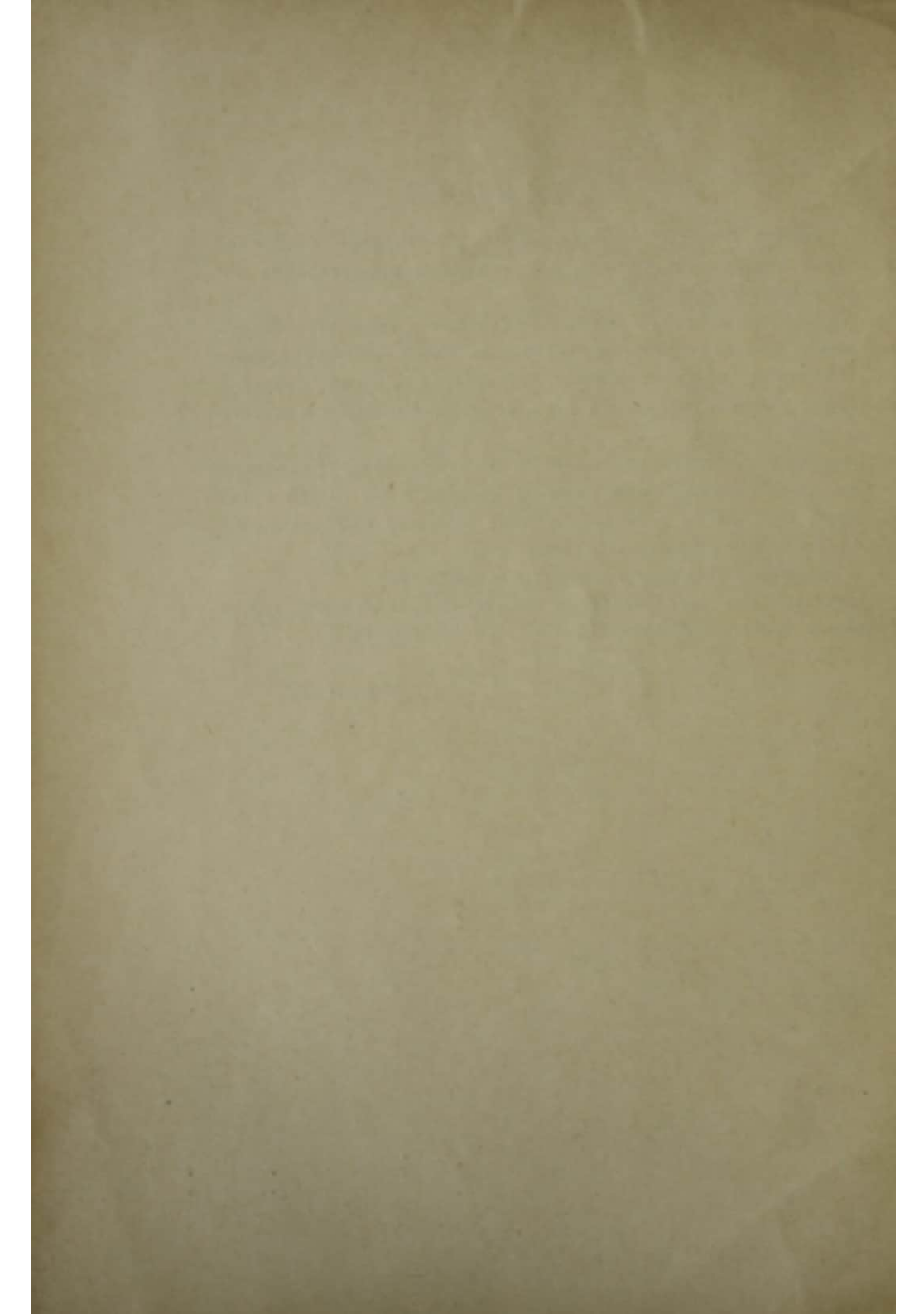
При составлении Альманаха редакция руководствовалась желанием показать наиболее выпуклые, наиболее полноценные произведения местных писателей. Но, с другой стороны, редакция имела в виду хотя бы в некоторой степени показать лицо всей области.

Редакция Альманаха полагает, что читатель, благодаря этому, сумеет представить себе творческое лицо нашей организации, еще очень молодой, только впервые собирающейся на свой первый областной съезд.

Следующий Альманах выйдет в начале мая.

Отзывы об этом Альманахе просим направлять по адресу: Иваново-Вознесенск, Михайловская, 13—АПП—ИПО.

Редколлегия.



У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ.

(КАДРЫ).

В январские ночи сжимается ртуть, Между нефтебаков и труб.
Бывает, что рвется Цельсий. Крыльями черными знамя
В такую минуту Полощется на ветру.
Застряло во рту А тот, кто все дни на посту,
Прощальное слово, Кто в жизнь претворил мечту,—
И дрогнуло сердце Кепку снял, прищурясь слегка.
Того, кто все дни стоит на посту, Вдали народившийся абрис
Кто в жизнь претворил мечту. Новых заводов и фабрик
Из камня и бронзы Ласкает его рука.
Под ним пьедестал, — Видно и слышно:
Над ним—многоточие звезд. Грохочут миры,
 Плененные новым рейсом.
Площади, улицы взял Взрывается от такой жары
Набегом ночным мороз. Ртутное сердце Цельсия.
И городу снится, Руда поднялась на поверхность
Что он в плену— земли,
Ведут на расстрел детей его. В руки попала мастеру.
Бесстрастная полночь, подбросив От берега к берегу пролегли
 луну, Мосты удивительной масти.
Рассыпала звезды затейливо, Сосредоточенно держат строй
Захлопнула рвы один за другим Техник иль просто кровельщик...
И лапчатым ветром развеяла дым... Мать Индустрия взывает:
А городу снится: взлетают котлы, — Строй!
Свинцовая вьюга карежит углы, Сделали мы не все еще!!!
Как сосны, попадали черные трубы. Много дорог! Не хватает дорог!..
Но вот просыпается город. И он умолкает упрям и строг.
И сон улетает балладой, Глядит на леса недостроенных
Рожденной семнадцатым годом. зданий,
К памятнику заводы В глазах его—ожидание.
Ударные шлют бригады. Вдали нарождается абрис
Утро встает над домами, Новых заводов и фабрик.

АСТРАБАТ.

ПОВЕСТЬ.

Так видно и не найдет наука средства, которое могло бы вернуть шестидесятитрехлетнему старику молодую силу и подарить хотя бы еще тридцать лет бойкой жизни. Как необходимо это средство Савелию Бобылькову!

— Хоть бы мне еще годков двадцать, извиняюсь, пожить,— страстно вздыхает он.

— Поживешь еще,— отвечают его дорогие друзья—парни из Астрабата.

— Сил стало мало. Не то, понимаете, движение крови.

— Ты съезди в город,—омолодись. Приедешь,— на комсомолке мы тебя женим!

— Смехи, ребят, смехами, а как бы годиков двадцать мне, извиняюсь, урвать, так прямо бы сыт не наработался.

Изда Савелия Иваныча стояла на краю Астрабата, держал он лошаденку с коровенкой и имел земли 1,23 десятины. Обоих дочерей выдал в своей родной Астрабат, сыновей у него не было и жили они только вдвоем со старухой—с сухонькой и рачительной теткой Олимпиядой. До революции ходил Бобыльков—работал обойщиком, но теперь приброесил ремесло и живет безвыходно в Астрабате.

Астрабатом называется стодвадцатидворовая часть села Заборья. С испокон веков,—а началось село до Ивана Грозного и подарено было им еще Малюте Скуратову,—селались на угоре богатые и средние крестьяне, и в бескрайной луговой низине, распахнувшей свои зеленые, сырые, душные покои по реке и вокруг болота, жили малоземельные, бобыли и окончательная нищета.

В Заборье шутили:

— Куда пошел?

— В Астрабат, где сорок годов пьянствуют и двадцать годов похмеляются.

— Ха-ха-ха... На какие же это, интересно, средствая?

— А там же вина ключ, а у ключа пасется жареный бык и вила в ем!

Эту шутку вверху произносили миллион раз и все-таки еще находились охотники повторять ее вновь и вновь.

На стыке Астрабата с богатой частью села, в частном доме—изба-читальня, открытая шефом Астрабата—фабрикой „Красный Профинтерн“, что в восемнадцати верстах. Шестидесятитрехлетний Савелий Бобыльков работает избачом за двадцать пять рублей в месяц, за которыми каждое первое

число ходит или ездит на фабрику. В избе-читальне дело у него заботливо было поставлено. Шашки, шахматы, книжки, газеты в порядочке, все на месте. Олимпиада два раза в неделю в избе-читальне примывалась, потому что двадцать пять рублей ей казались громадными деньгами и жили на них старики, по уверениям Олимпиады, — „душа в сахару“. Савелий своей талантливой, ищущей душой любил театр и, бывая в городе на многих съездах и конференциях, видал неплохие постановки.

В избе-читальне он сам руководил драматическим кружком и именовал его гордо и благоговейно труппой артистов.

Сам Савелий исполнял роли характерных стариков. Актер он удобный — ему не надо подвешивать бороды — своя у него борода справная и внушительная.

На красную горку хозяин дома, в котором помещалась изба-читальня, женил сына и в помещении отказал, а шеф с наймом нового дома развел волокиту. Бобыльков ходил, как оскорбленный.

— Что ты весь обмяк? — останавливали его.

— Тоскую... Сильно тоскую...

Потом он часто стал оглядывать свой сарай. Через несколько дней он привел к сараю молодежь. Из сарая вытаскали остатки сена и мякины, устроили сцену, развесили плакаты, комсомолки вымыли пол и обтерли мокрой тряпкой запыленные стены. Над воротами сарая прибили вывеску:

„Летний театр астратовской группы артистов“.

Бобыльков — старик степенный, серьезный и культурного поведения в жизни. Про себя он с гордостью рассказывает:

— Не курю и вино не пью с 1892 года. В первые годы революции гнал по бедности, извиняюсь, самогонку, но сам, понимаете, — ни капли.

Когда приезжает с „Красного Профинтерна“ кино-передвижка, он взбирается на свою сивую старую лошаденку и едет по селу и окрестным деревням.

— Кина приехала! — кричит он, подстегивая лошаденку, которая от стежков только вихляет редким хвостом. Если же на улице никого нет, он подъезжает к избе, стучит палочкой, которой понукает лошадь, и говорит выглянувшей в окно бабе:

— Митревна, понимаете, кина приехала. Передай хозяину, чтобы шел, извиняюсь, на картину. Дочери бы тоже, извиняюсь, шли для образованья.

Какому-нибудь глоту, задирающему его на лекциях, он крикнет строже:

— Э-эй, поди хлебай культуры-то, — кина приехала!

Все щели и дыры в своем сарае он затыкал тряпками, мохом, чтобы не проникал свет и не портил картину. В сенокос Олимпиада настояла класть сено в сарай, а не в стог и

потому часть зрителей сидела на сене. В самое страдное время работа в комсомольской ячейке стихала, молодежь загуливалась и пропускала многие важные кампании. Бобыльков собирал ячейку и говорил слова увещания и упрека:

— А где же у вас работа? Почему у вас, извиняюсь, не секретарь, а, правильнее сказать, божья коровка? — Так, понимаете, существовать нельзя. Мужики, извиняюсь, над вами подсмеиваются. Давайте, понимаете, поправляться и наводить деятельность!

Зимой он часто читает лекции. Предварительно появляется афиша — „В помещении избы Егора Чудова избач Бобыльков произнесет лекцию „как прекраснее жить“. Об начале лекции будет стукнуто два раза в железину. Вход без денег“.

Сквозь табачный дым, запах овчины и скотного двора, пробираются спокойные слова:

— Вот, извиняюсь, Дания. Работаящая, понимаете, страна, хотя с нашу губернию. Вот у них, извиняюсь, курицы. Поверите ли, нет ли, а такая, извиняюсь, мелкая тварь и кормит все государство и даже громадные деньги идут на содержание кровавого короля, как они, понимаете, по политике будут нас слабее. Курица там разводится только самых, извиняюсь, породистых кровей и подвергнута, понимаете, науке до последнего, извиняюсь, пера. Теперь я, понимаете, расскажу вам, как у них учиться, извиняюсь, куричьему делу...

„Извиняюсь“ и „понимаете“ он ввел в свою речь для того, чтобы мужики чувствовали благородный, научный разговор, а потом привык и был немислим без своих нежных любимцев — „извиняюсь“ и „понимаете“.

По весенней ростепели актив Астрабата во главе с Бобыльковым был вызван в райком партии. На собрании астрабатовского актива совместно со многими представителями районных организаций, агрономом, землемером был осилен вопрос об организации образцового колхоза в Астрабате. Для организации колхоза более подходящего материала, нежели Астрабат трудно было выдумать. Лучшую в селе, бывшую откупную кулацкую землю — Мятное поле и Соловьиный лужок — решено было прирезать к астрабатовским пескам. Получалось триста двадцать гектаров. Верхнее Заборье эту новость встретило растерянно и недоуменно, — никак не могло вместить, что это большое и верное дело. Ползала по Верхнему Заборью болезненная уверенность, что эта затея в скором времени погибнет. Никак не представлялось, чтоб эти нищие грязные, из-за бедности полубольные люди могли воскреснуть к труду и к жажде жизни. Привыкли их видеть покорными и никчемными; не они ли стояли под высокими окошками кулацких домов и „дябели“ овсеца на посев, недомерок ржи до нови или просто просили работы за кормежку и ничтожную плату? Тогда в хозяйне дома просыпалось могущественное

эгоистическое чувство власти над подобными себе и удовлетворение собственным превосходством. Бывало, заборьевские кулачки с довольными и рассеянными усмешечками ликовали, глядя, как в Астрабате дрались, ругались, болтались пьяные, и, судя по этому, в глазах живой радостью стоял провал колхоза и посрамление Астрабата.

— Ну, что же они поделают с такой землицей, раз на весь Астрабат—двадцать шесть лошадей?—говорили верхние.

— Хвастают, что им тракторов выдадут.

А Астрабат будто вскипел в огне энтузиазма и все способности свои употреблял на организацию коллективного труда и воспитания в себе чувства товарищества. Для мирной, убедительной агитации кулаки и зажиточные, богатевшие от Астрабата, не могли найти никаких путей; оттого они обрушились угрозами и злобными пророчествами.

— У лодырей все равно ничего не выйдет!

— Колефтивом способнее пить—это верно!

— Есть дураки средней руки, а на вас чертн и те смеются.

Колхозники возражали задумчиво:

— Ума в этих насмешках мало.

— А вот осенью придете дябеть, так не так еще посмеемся.

— Насмеивайтесь уже сейчас досыта, — больше-то не придется.—Хватит... Посмеялись...

Зато с большим успехом выступал цоп.

Астрабатовцы никогда не были усердными прихожанами; после революции раньше всех впали в безбожие, а поэтому отец Леонид Руфин спустился в стан астрабатовских баб.

— Не бывало еще такого греха на земле, — говорил он скорбным голосом запуганным свирепой безрадостной жизнью беднячкам:—то ли сатана не выдумщик и не проказник на всякие грехи и то не мог такой пакости изобразить. А у коммунистов башка такую муку для людей придумала. Ни коровки своей, ни лошадки своей, ни теленочка, ни овечки своей не будете иметь. Пирогов никогда никаких не будет — ешь один хлеб, да и то с закалкой. Бабы будут, господи, прости за согрешенье, общие — все, вплоть до седых. И над тобой, Олимпияда, на старости лет могут надругаться. Про мужиков своих, бабы, забывать придется, — жди, когда он тебе достанется, а тут, глядишь, опять очередь его от тебя отшибает.

От этих разъяснений отца Леонида в колхозе наступили мучительные дни, испорченные слезливыми бабьими заклинаниями и мольбой.

Усталыми весенними вечерами на дерюжных супружеских постелях Астрабата шелестел, как лесной ручей, умоляющий женский шопот:

— Микитушка... Микита Василич, отступись от этой коммуны! Ну ее... Грех один... Заради меня, заради наших ребятишек брось!

— Чего ты глупости наворачиваешь? Раз сознания у тебя не хватает, поживи, погляди, подумай. Ведь ничего не знаешь, а суешься!

— Микитушка!.. Микита Васильич... Неужто я у тебя такой уступки не заработала? Уважь ты меня за все мое хорошее.

— Ты с ума не спятила ли?

— Восчувствуй ты меня, Васильич, по хорошему. Сердце у меня разрывается на сорок частей, а ты меня словом убиваешь.

— Перестанешь, Глафира, али нет?

— Дай ты мне хороший ответ: отступишься ты от коммуны, али меня желаешь потерять.

Мужской вздох тяжело шлепается в тишину, затем кряхтенье поднимающегося усталого мужика, шорох босых ног... Бабий плач, — будто горящий можжевелевый куст — заполняет неистовым треском и всхлипываниями всю избенку... Просыпаются ребятишки и, напугавшись, подымают сонно, неохотно. В избенке становится тошно и жутко. Хозяин сидит на крыльце... Докончив цыгарку, свертывает другую.

На постелях бабы добивались своего нежностью и жалостными доводами; днем кричали, требовали и ругались.

Бедность и желание выкрутиться к лучшей доле были до того велики, что на все уговоры и требования жен мужики оставались непреклонными.

Нехватало терпения и крошечки жалости, чтобы растолковать о заблуждении. Колхозники только зло и громко ругались, а это, к счастью, действовало на баб сильнее убедительных разъяснений — они ругались и меньше голосили. Представитель райкома партии Ермаченко и участковый агроном Пригубин, проводившие несколько собраний в Астрабате, растерялись.

Надо было выделить пару, тройку самых активных астрабатовцев, чтобы вверить им руководство колхозом. Смотрели и не высмотрели. Все они в одинаковой степени горячились, кричали, проклинали свою жизнь, с руганью, с угрозами, называли не бросать их, а то они могут сбиться, запутаться. И было похоже — висит человек на скале, цепляясь за выступы и вот ему бросили спасительную веревку. И тут так. Погибать в нищете, батрачить, или же жить полной, большой жизнью, охотно работать, беззаботно отмачивать соленые шутки, кричать, быть сытым, учить детей.

Ну, выделялся своей сообразительностью Бобыльков, знательностью Рождайкин, Епифанов и Фенин. Но Бобыльков шел в колхоз не первым, будучи человеком в сравнении с другими астрабатовцами более обеспеченным, руководился умом, а не чувствами, как другие. Рождайкин был немощен и горяч, Епифанов тяжел на подъем и неловок, Фенин по молодости лет и отсутствию житейского опыта был еще слабосилен, как руководитель. Ермаченко не опоздал догадаться, что

колхоз создают и будут строить не отдельные лица, а Астрабат, весь коллектив.

И он сказал агроному:

— Не будем вытаскивать им руководителей... Сами вытолкнут. Состав колхоза хороший, бедняки все чистосортные — чуждым к ним не прорваться.

Бабы понемногу стихали и начинали рачительнее относиться к колхозу. Но у Бобылькова семейное дело обернулось хуже всех. Олимпияда строжничала над мужем:

— Не пойду я на поругание... Не буду я последние свои годы портить.

— Мать! Ты, извиняюсь, образумься! Ты обдумайся хорошенько, обдумайся! Как ведь это, понимаете, хорошо: работать всем вместе, проживаться в дружбе. Обчая, понимаете, жизнь при достатке.

— Не говори ты мне! И не говори! Прокляну я тебя на старости лет после обедни. Ни коровы тебе не дам, ни лошади не дам, ни одной рубахи не дам.

При своей душевной деликатности и благородстве не мог старик кричать — ругать Олимпияду, он растерянно, смущенно говорил:

— Не ожидал я от тебя, извиняюсь, такой густой темноты. Думал, что мы, извиняюсь, по гроб жизни будем жить в согласии, а теперь выходит, извиняюсь, расходиться надо.

— Расходиться? Что ты на старости лет народ смешить будешь?

Морщины ее лица наполняются слезами, Олимпияда, плача, умоляет:

— Савелий Иванович, допинай ты жизнь по-хорошему, не укорочай самовольно свой век! Чего уж тебе надо? И так живем душа в сахару.

— Надо, чтобы не одни мы, а весь Астрабат счастливым был.

— Пусть молодые путаются, а ты не ходи — не пушу я тебя.

— Такой власти у тебя надо мной, извиняюсь, нету. Раз у тебя нехватает ума понять, извиняюсь, мое естество, — расходиться приходится.

На первый взгляд расходиться было недолго, нужды в официальном разводе не было, но колхозники объединяли имущество и средства производства, а Олимпияда препятствовала Савелию, и он подал в суд. Суд отдал Савелию лошадь и корову, а Олимпияде — избу. Савелий осердился на властность старухи, убедительно хаял перед ней маленькую никчемную жизнь „душа в сахару“, особенно не нравилась настойчивость старухи и он непреклонно разрывал десятками лет утепленную жизнь. Нелегко было на душе. Когда вводил на общий двор лошадь с коровой, непривычные слезы обжигали глаза и скрывались в чащебе седой бороды.

Олимпиада сначала хабрилась: ругала и уговаривала старика, а потом убедилась, что его не сломить и что не такой он мягкий и покладистый, как ей казалось всю жизнь, обронула всю свою настойчивость и силу над ним и слегла.

* * *

В Верхнем Заборье смотрели вниз на Астрабат, смотрели за реку и радовались. Заборьевцы подняли поля, бороновали и начинали сеять, а колхозники еще ничего не сделали. Выезжали все вместе, вспахали полдесятины и уехали. Старые голодные лошаденки задыхались, дрожали в поту усталости и вставали, умоляюще кося глаз на хозяина, а некоторые падали... Верхняя сбруя рвалась, по старой привычке били кнутовищами и пинками.

— Нахапали себе земли-то, а теперь и не знают, что делать. Земля силу любит, — злорадствовали вверху.

— Отдайте нам из половины, а то проваляется она у вас — ничего с нее не получите! Вас жалеючи говорим.

— Не плачай... Сами управимся.

Но такие разговорчики вскоре прекратились — из ближнего совхоза Еруслановки пришел трактор и поднял поле колхозников в четыре дня. Бороновали и сеяли новенькой сеялкой на своих лошадях.

Рабочих рук был большой избыток и работали наперерыв. Участковый агроном заболел ревматизмом и лежал в городе в больнице. Заместо агронома в колхозе пригодился Ермолай Рождайкин. Он пробыл три года в плену в Германии, убежал в Австрию, из Австрии — в Италию, и в 22 году прибыл в Одессу. Этот низкорослый, бойкий человек, умевший говорить на трех языках, знавший жизнь, как мудрец, и Европу, как свою волость, надломился в Астрабате.

Приехав к голодным ребятишкам и к больной жене, он через полтора года свалился. Туберкулез берцовой кости правой ноги лишил его возможности работать в поле. Пришлось всю работу сдать на плечи десятилетнего сынишки. Но это было не крестьянствование, а слезы. В колхоз он вступил первым. Из уважения и жалости его принимали, а он оказался ценнее всех. Его с первых же дней прозвали главнокомандующим.

Колхозники, раньше заборьевцев выезжавшие на работу (как-то не спалось от воодушевления), видели Рождайкина уже в поле. Он прыгал на заполосках или сидел на стульчике маленький, сухой, неистовый, как астрабатовский идол. Ходил он — в правой руке костьль, в левой — специально им смастеренный стульчик.

Сейчас он идет — торопится, но вот кто-то окликнул его, стульчик сделал уверенный „сартале“ и Рождайкин уж восседает на нем, как игрушечный судья.

Многие колхозники по старой привычке снимали картузишки перед началом работы, шептали молитву, крестились.

Тогда поле оглашалось визгливым криком Рождайкина:

— Я тебе помолюсь!.. Я тебе вздохну! Будешь ты у меня коллектив сквернить. Перекрестись еще хоть один раз, — я тебя в поле не пущу.

В ночное водить лошадей ребятишкам он не доверил и наряжал самих мужиков, чтобы лучше накормливали — „надо поднимать“; уговорил колхозников каждый день лошадемок чистить.

Методы военной дисциплины, внесенные Рождайкиным в колхоз, не оскорбляли мужиков, а даже, напротив, почему-то нравились.

Обнаружив грязную лошадь, Рождайкин коротко бросал: — В двадцать четыре минуты вычистить!

И посылал ребятишек за скребком и веником.

А то вдруг он останавливал свой белесый, пронзительный взор на ногах какого-нибудь грязного колхозника и тихо спрашивал:

— Это у тебя что такое?

— Цыплята... то ись ветром разбило...

— Не цыплята, а цыпки называются. Два дня недопущения на работу, поди к жене, мой горячей водой, смазывай молосным маслом и носи лапти!

— Лаптей-то нету...

— Ну, опорки какие приспособь.

После этого вынимал из сумки карандаш и бумагу и делал таинственную запись.

Астрабат почти голодал. Аржаной хлеб был редкостью — только и есть, что деревенский кооперативный паек в четыре килограмма. Жили, главным образом, на овсяной муке и картошке, да и их расходовали с бережью невероятной.

На общем собрании было строжайше запрещено ходить вверх за пудиками и полупудиками. И нынче под высокими окнами заборьевских пятистенков из Астрабата никто не даябел ни хлеба, ни работы, ни денег.

Пока одна смена работала, другая сидела и лежала на заполоске. Во-первых, чтобы разозлить Верхнее Заборье, во-вторых, от распирающей душу радости спасения и, в третьих, с голоду пели песни. Запевал Рождайкин. Песен он знал много. В долгие зимние вечера астрабатовские мужики сходились в его избу послушать про разные страны и он часто пел им песни на двух чужих языках.

Голос у Рождайкина — спокойный, скрипучий тенорок.

Вот он ласково затягивает:

— Ивушка, ивушка, зеленая моя.

Когда застывал последний звук запева, мужики хором, басисто и необыкновенно настойчиво спрашивали:

— Что же ты, ивушка, невесело стоишь?

И колхозники вдохновенно рассказывали солнечному полю и дремлющему на солнцепеке за рекой Заборью простую, но горячую по своей страстности историю ивушки. Но кончалась смена, и Рождайкин посылал певцов на работу. Приходили другие— усталые и потому до песен не охочие и закуривали.

Рождайкин махал Бобылькову, который толковал о чем-то с девками, копавшими по реке гряды под капусту.

— Накручивай сюды-ы! На-а-а-кручивай!—говорю тебе! Вот возьми его—еле поворотился,—жалуется Рождайкин мужикам:—как неслух. И все отчего? В солдатах человек не был и дисциплину не может понимать.

Бобыльков подходит и кричит на Рождайкина:

— Ну, чего тебе? Отойти нельзя от тебя. Отойду от него на полчаса и уж, извиняюсь, орет. Ну, что тарацишься?

— Читай лекцию.

— Вторую уж лекцию сегодня, а еще только три часа.

— Ну, что же делать, раз у нас культурной силы почти-тай—только ты один. Товарищи, обратите внимание!.. Ежели которые лежат, прошу повернуться вверх лицом. Товарищ Бобыльков, попрошу вас начинать!

— По всем деревням и селам нашей необозримой, понимаете, республики происходит борьба. Кулак наступает на бедняка, бедняк, извиняюсь, на кулака. Оттого шумит борьба, что происходит, понимаете, переворот состояния жизни. Бедняк всеми силами вырывается, извиняюсь, из кулацкой кабалы при помощи, понимаете, социалистического строительства, куда входит и колхоз, даже, понимаете, как самая важная постройка. Теперь вот разберем это строительство по частикам, как, извиняюсь, машинку.

Перед концом лекции Бобыльков услышал за собой дрожавший голос:

— Савелий Иваныч!.. Савелий Иваныч!.. Слушь-ко!

Он обернулся и увидел перед собой Олимпиаду. Она стояла, грузно опершись на палку, худенькая и скорбная. Только глаза будто выросли—стали тяжелыми, недоуменными.

— Ты ко мне?—спросил Савелий.

— К тебе... Слово пришла сказать.

— Посиди тут... Вот я договорю немного. Присядь, извиняюсь, покамест, —проговорил скоропалительно Савелий, смущенный таким странным событием, и отвернулся.

Олимпиада не расслышала его слов, подумалось ей, что он ее гонит и она обиделась:

— Чего ты передо мной как заносишься, будто я какая непутевая что ли стала? Что ты на меня бросаешься, как собака? И так мне невмоготу жить-то. Душа у меня вся высохла. Душа-то у меня, как сухарик. И, кажись, не размочишь его. Вот я, Савелий Иваныч, надумала жить с тобой вместе. Что страдать-то друг по дружке. Давай уж доживем в сог-

ласии. Вот ведь я как придумала, а ты надо мной заносишься, будто я непутевая какая.

Колхозники заинтересованно зашевелились, на заостренных бородатых лицах закопошились усмешки.

— Вот это, бабка Олимпияда, ты правильно придумала.

— И думала немного—только три недели, а хорошо вышло!

— Скушно пташке без дружка.

-- Почирикала, почирикала одна-то, да так и не попела.

— Да уж, Олимпияда Тимофевна, стара дурить-то, иди-ка к старику под покорность.

— Граждане, бросьте свои аргументы!-- сказал укоризненно Рождайкин:— Бобыльков, что ты голову опустил, али отвык уж?

— Отвычка у меня, извиняюсь, маленькая. Что же, я согласен с ней жить, коли она своей несознательности поспособит. Гляжу вот на нее и горько мне. До какой, понимаете, немощи она довела себя через темноту и гордый свой характер!

* * *

Шли недели и месяцы. Отцветали луга. Давно уж Астрабат стал жить новыми делами и думами, и колхоз стал неотъемлемой его частью. Голосистее стали астрабатовские девочки, задорнее играла тальянка Ваньки Фенина. Обещал район поселить в Астрабате со следующей весны трактор. Вверху, в Заборье, поселилась напряженная тишина, и сквозь тишину и зажиточную благопристойность трудно было определить силу ненависти к колхозу.

Наглядевшись на успехи колхоза, запросились в него самые трусливые и темные бедняки Астрабата. Вступало еще двадцать семей, и Рождайкин поднял вопрос о прирезке земли колхозу. Землю опять надо было брать у верхних. Два года тому назад они сорвали передел, которого добивался безземельный Астрабат, а до сих пор владели землей по старому—имели десятки десятин. Послали Калистрата Ложкина в район хлопотать о земле. Ждали, что Верхнее Заборье будет собирать сходы, кричать против, подбивать поющих астрабатовцев на свою сторону, и Рождайкин уже на этот счет возвел укрепления: договорился с комсомольцами и с Бобыльковым об ответной разъяснительной борьбе.

Но вверху представлялась внимательному, придирчивому взору Астрабата безмятежная тишина. Похоже, что заборьевцы были уверены в безрезультатности этой борьбы и застыли в смиренной безысходности. На этом Астрабат и успокоился. Но вскоре—в конце сенокоса мирная тишина была разбита. Стоял жаркий летний полдень, тот полдень, когда бабы и девки ворошат сею на лугах, поют песни, а солнце так припекает, что от соломенных гнилых крыш Астрабата пахнет гарью. Стройная, знойная тишина упорно старалась всех по-

мирить своим жаром и великолепием. Три выстрела, прокашившиеся за рекой, разбили последнюю ее надежду на успех.

Первый выстрел—спокойный и раскатистый и потом через гулкий промежуток времени два торопливых. На выстрелы астрабатовцы не обратили никакого внимания; думали,—охотники балуются на гуляющих по речным заводям уток. Через полчаса по улице до сборного места проковылял Рождайкин и ударил три раза в чугунную доску, что означало—чрезвычайный сход. С тенистых задворок, с сеновалов, с огородов, с гумен шли астрабатовцы, а Рождайкин в это время свертывал курить и руки у него дрожали.

— Ну, главнокомандующий, что придумал?

— В такую пору не надо бы сход собирать—плохо думается.

— Разе ж што ек... екстерное?

— Садитесь... Садитесь! Всем сразу расскажу.

— Гляди, у тебя, Архипыч, кровь на лбу!

Рождайкин испуганно шаркнул рукой и скорей посмотрел—на ладони протянулась полоска крови. Еще раз охватил лоб рукой.

— Завязать надо. Эй, бабы, оторвите от подола тряпку!

Рождайкин отмахнулся:

— Ничего не надо. Это только шаркнуло.—И сейчас же заговорил трагически-важным голосом, каким говорят на площади:

— Товарищи-колхозники, вы слышали, стреляли за рекой?

— Обязательно слышали.

— Три раза явственно вдарили.

— Я пошел на гумно—слышу стреляют. Ну, думаю, выводок ребята присмотрели.

На бледном болезненном лице Рождайкина зрели красные пятна, а струйка выползла на переносье, тут на мгновение застыла в нерешительности, быстро скользнула по краю носа и поползла по щеке. Синяя полинялая рубашка на левом плече расцвела пышным багряным георгином и прилипла к телу. Выслушав редкие ответы толпы колхозников, застывшей в жути, Рождайкин пояснил:

— Это в меня стреляли. Ходил я сегодня в больницу на перевязку. Спустился с угора к мосточкам через омут. Тронулось было даже у меня желание голову помочить. Вдруг сверху из ольшеничника—бах! Дробь над головой просвистела... в плече ожгло. Я скорее, значит, на землю упал по фронтовой сноровке и стульчик на голову надел... И потом еще два раза по мне саданули. Из дробовика стреляли...—Он вынул из-под себя стульчик и показал изрешеченное дробью сиденье.—Вон Епифанов говорит—выводок присмотрели. Это по нашему выводку, паят. Мы—новый выводок. Коммунистический... Ну, что же? Полежал я минут пять—десять,—не стре-

ляют больше—видно думали, я окошел или уж пора стрельцу скрываться было. Я ползком-ползком и по мостику ползком. И ушел. Разве старого солдата скоро возьмешь? А теперь прошу высказываться.

Комсомолец Строчков поочередно обеими руками конвульсивными движениями погладил грудь и, слотнув слюну, проговорил:

— Я скажу за весь наш астрабатовский комсомол. Мой отец прошлый год работал у кулака Кобылкина, у которого имеется кузница и староверы живут. Два дня работал по десять часов за новый сковородник. А цена-то сковороднику в городе двадцать копеек—это уж я узнавал. За пуд—полтора муки работали по неделе, по две недели. Отсюда, согласно политграмоты, и делается все понятно, потому как смертушка приходит ихнему богатству. Работать бесплатно на них некому, а землю-то...

— Бабы, перевяжите Рождайкина-то!—приказно и сердито крикнул Епифанов.

— А земельки-то мы у них немного охватили, да и остальную возьмем,—оставим, сколько им приходится на едока... Они это очень прекрасно чувствуют и хотят нас всех перебить. Мы узнаем, кто на нас ружье поднял... Мы от имени Коминтерна заявляем...

— Хватит тебе!—обрезал его речь Рождайкин:—Бобыльков теперь что-то скажет.

— Я могу подтвердить,—заявил Савелий,—что они на нас руку подняли. Вот, понимаете, что со мной сегодня случилось. Иду я около девяти часов из лесу—по грибы ходил—встречается со мной у заборьевских овинов пьяный, извиняюсь, Щедриков. Остановил меня. Ты, говорит, друг, апостола Павла читал или нет? Извиняюсь, нет, мол, не читал.—А почему, говорит, ты, старый человек, апостола Павла не читал? Потому, мол, как не интересуюсь. Так, говорит, поинтересуйся. И изо всей силы—раз мне плюху. Извиняюсь, это что же—разбой?—я его строго спрашиваю. Он мне еще плюху слил. Я еле ноги унес. Вся душа у меня, понимаете, истерзалась—да ведь как я—без свидетелей—в суд сунешься?

Кухозники ругались, махали кулаками в сторону Заборья, выбрали двух ходоков в районную милицию, наказали селькорам прописать обо всем этом в газетах. Рождайкин совсем обессилел, простреленное плечо не могло держать стульчик и его на руках отнесли домой—он был легок, как ребенок.

* * *

В последнее воскресенье июля, часов в пять утра в Заборье, у пожарного сарая собрался общий сход. От самой зимы это был первый совместный сход Заборья и Астрабата.

Кр. 19.515



Раньше такие сходы были веселыми, шумными, с утробным хохотом богатеев... Заборьевские глоты показывали здесь свою умственность, насмехались над астрабатовцами, осмелившись высунуться со своим „резонансом“ и безо всякого голосования и протокола, горлопанством выносили решения.

На этот раз перед сходом было тихо и как-то душно, как бывает в семье перед разделом.

Заборьевцы важно и степенно разговаривали между собой, а немного в стороне расположились астрабатовцы колючие, вражески настроенные. Ни ругани, ни общего разговора никто не заводил. Из двухэтажного нового дома вышел лесничий с Петром Шарфовым.

— А вот и он идет, — сказала сразу несколько голосов, — тяжело было дожидаться в этой напряженной атмосфере. Молодой Шарфов с густыми волосами, модно зачесанными назад, рассказывал лесничему, видимо что-то интересное и все смеялся. Изредка кривил улыбкой рот и лесничий. Шарфов самый интересный человек из заборьевской молодежи. Два года тому назад, после смерти отца, Шарфов приехал домой. До этого он кончил в городе вторую ступень и работал несколько лет секретарем нарсуда. По приезде достроил дом, с постройкой которого отец надорвался и умер, вместо одного стал держать двух батраков, завел новые бороны, плуги, приобрел сеялку, жнейку... Как можно крепко поставив свое хозяйство, он сказал себе, „а теперь время и жениться“ и вот уже с середины зимы искал невесту. Он ездил к девяти невестам и ни одну из них не отобрал — все чем-нибудь не нравились.

— Достаточно людей собралось... Открывайте! — попросил лесничий. Шарфов красивым жестом откинул упавшие на лоб волосы, лизнул сухие губы и заговорил:

— Давайте считать собрание открытым. Выбирайте председателя и секретаря.

Не успел он закончить последнего слова, как заговорил, по бабьи растягивая слова, Осип Ронжин по прозвищу — Золотой мужичек:

— Петра Егорыча попросим... Краше его никто не сделает — человек образованный... А попишет вон Жемчугов. Жемчугов, голова-то у тебя укладливая — поди-ка попиши.

Он масляным своим взглядом обвел лица астрабатовцев и во взгляде его значилось: „это такие люди, перед которыми преклоняться нам надо“.

Всегда этот с виду жалкий мужичек, в течение десятков лет воровавший решениями сходов, на первых же минутах забирал сход в свои руки. Астрабатовцы таинственно молчали и злобно смотрели на Ронжина — не было среди них человека, которого бы Ронжин когда-либо не эксплуатировал или не обманул. Был он весь, как старое корневище — маленький, уло-

ватый, до-нельзя кривоногий—ноги, как ухваты. За все свои пятьдесят семь лет ни разу не хворал.

Детей у него не было, жил только со старухой, поддерживал наемным трудом крупное хозяйство, имел мельницу, состоял бессменно семнадцатый год церковным старостой.

Село интересовалось уж многие годы—сколько у него богатства и куда он прочит свое богатство. И прозвали его Золотой мужичек.

Шарфов спрашивал собрание:

— Еще кандидаты есть? Нет... Прошу внимания! Лесничий... товарищ Белякин имеет нам сказать о заборьевских лесах местного значения.

Лесничий заговорил по-интеллигентски мягко и бесстрастно. Он констатировал: леса села Заборья за последнее время ожесточенно расхищаются. Лесничество будет вынуждено поднимать вопрос в райисполкоме о запрещении пользования лесом на три года, если безобразия немедленно не прекратятся. Затем он наполнил о великом значении леса в жизни природы, сообщил о неоднократных указаниях власти беречь лес и просил виновников хищений прекратить уничтожение леса.

Холодно, хитро молчали. Ледяшками простучали слова Шарфова:

— Прошу брать слово.

Не знали, с чего начинать словесный бой. Молчали.

По старой привычке заговорил первым Ронжин.

— По моему, мужицкому разумению, господин лесничий очень правильные слова нам преподнес. Лесок—он заботу любит. Лесок любит, чтобы его до поры до времени не трогали. Вот, которые из плену пришли, рассказывают—лесок в Германии любо-дорого поглядеть. А все отчего? В хороших, надежных руках находится. А про наши леса и говорить неохота. И у нас бы ведь лесок сохранился, как бы его разделить на участки. Каждому бы хорошему хозяину участочек, тогда бы и наш лесок по другому запел. А теперь лес губится без пощады и вора всем селом—сделаю один нарек. Ну, уж я так и быть согрешу перед богом—сделаю один нарек. Вор у нас, господин лесничий, с испокон веков один и тот же—Астрабатов называется. А нынче этот вор почувал свою силу на селе и порешил видно весь наш лесок свести на нет.

— Врешь, кривоногий черт! — гаркнул кто-то из группы астрабатовцев.

— Сами лес сводите!

— Обыск в Заборье сделать—полны дворы лесу!

— Свое мошенство на нас сваливают!

— Эх, ты—Золотой мужичек!... Какую ты бесстыжу харю на себя наложил!

Услышав непривычно смелые слова астрабатовцев, Шарфов сердито сморщился и по-хамски закричал на них:

— Что вы там разорались, как поросята? Неуж-и-и... Просите слово, а орать по глупости нельзя.

— Дайте слово нашему представителю,—медленно и гордо сказал Рождайкин, восседая на своем стульчике.

В голосе Рождайкина звякнули стальные нотки борца и Шарфов, учуяв их, заметно осел и с холодной учтивостью склонился.

— Пожалуйста... Прошу!

Вперед выступил Епифанов—прикренистый, широкоплечий, забрав широкую рыжую бороду в горсть, натянул ее и одновременно по-бычьей выгнул мускулистую шею. Этот безотчетный прием позволял сдерживать волнение возмущения и говорить медленно, вско.

— Вот сейчас Золотой мужичек перед нами медок размазывал, а гряззу-то взял, собрал в кучку, да в наш Астрабат и бросил. Неужели всю жизнь капли совести ты в себе, Ронжин, не найдешь? Хватит — пограбил на свой век... Кому богатство-то свое...

— Гражданин!—остановил его Шарфов:—Вы не по существу. Лишаю слова.

Астрабатовцев будто бурей подняло—в одну минуту они были на ногах, быстрой всех поднялся Рождайкин и за ним выпрямились все колхозники.

Исподлобья посмотрел Рождайкин на председателя:

— Не даешь говорить?

— „Повторить: „лишаю слова“—и весь Астрабат сейчас же снимется и зашагает демонстративно под гору,—подумал Шарфов и замылся:

— Ведь он же не туда заехал!

— Я личностей не задевал... Я прошу это грубиянство бросить, а то я моментально спокину сход, — грозит Ронжин.

— Это только присказка, — оправдывается Епифанов: — а без присказки не начнешь. Я сейчас к делу перейду.

— Ну, говори.

— Лес, поясню я вам, товарищ Белянкин, сносит не Астрабат, а Заборье. Как, значит, строевой лес теперь распределяется не по домам, а по нуждаемости, а стройки в Заборье все крепкие, то лесу им не полагается. Они знают, что наш колхоз нынче будет строить скотный двор, избу-читальню и сарай для машин и вот тут они от жадности задрожали и снялись его воровать. Возят его продавать в фабричные слободки, полны дворы себе лесу накатали, на тес распиливают... Стараются наши кулачки, вво как стараются колхоз раздавить... Воруя лес, скотину на наше поле загоняют.

— Лишаю слова!—рявкнул председатель.

Но Епифанов кричал:

— Бьют нас... Из ружей в нас палят. Поставь все это, товарищ лесничий, на заметку и сообщи по своей линии.

Шарфов грохнул кулаком по круглому столу:

— Лишаю слова.

Епифанов дышал тяжело—в однодышку и комкал бороду.

Рождайкин посмотрел в глаза опешившему лесничему:

— Видишь, нам говорить не дают. Наше предложение—на всех воров составить протоколы... Только ведь вы тут... ничего не подаете. А решения тут никакого не вынесешь, потому что две враждебные стены. — Он встал на костыли:

— Ну, так мы свое мнение сказали—теперь прощения просим.

Он запрыгал под гору и за ним двинулись все колхозники.

Заборьевцы заулюлюкали, заухали.

— Эй, ты, предводитель дворянства, что это стул-то у тебя, как решето,—муку что ли им сеешь? Ха-ха-ха!..

— Ка-амуна!.. Чорта вам в догонку!..

— Ко-оты-ы!

— А, ты что сегодня, извиняюсь московское, никакой пропаганды не пустил?

— Главнокомандующий Портянкин!

— Вот, господин лесничий, не живется им в спокойе-те... Ишь вшивые черти какую муру развели. Накашляешься теперь с ними.

— Граждане!—провозгласил Шарфов.—Ввиду того, что виновники лесохищений сбежали, обсуждать этот вопрос нет возможности.

— Нету сил наших с этой гольтепой рядом жить!

— Закрывай говорилку... Ну ее к бесу.

— Считаю закрытым!

— Позвольте... позвольте,—бормотал лесничий, смятый буряном классовый борьбы—ничего не понимаю. Что вы друг на друга, как звери...

— Конечно, вам интеллигентам, наше мужицкое сердце трудно понять. Оно, братец мой, наше-то сердце—злое, бурливое,—отвечал ему таинственно Жемчугов, убирая бумагу и карандаш. Он встал в легком волнении прошелся, заложив руки за спину, по полянке около стола, потом подошел к лесничему.

— Ничего, не расстраивайтесь, — снисходительно сказал Жемчугов лесничему:—не вы тут виноваты... Вы попали в самое пекло... Война у нас происходит, хе-хе-хе!..

Лесничий поднял голову и с большим любопытством заглянул в склонившееся над ним продолговатое, носастое лицо:

— Так это вы—Жемчугов?

— Да, да, я самый. А что?

— Слышал я о вас.

Лицо Жемчугова покраснело от стыда и он, осклабившись вместо неудавшийся улыбки, пробормотал:

— А что такое слышали?

— Да говорят, вы стишков много пишете?

Это Жемчугову пришлось. Он быстро оправился и опять утвердил над лесничим свой гордый снисходительный взор:

— Есть такой грешок, есть. Голова у меня, брат, большая мастерица.

В это время на Заборьевской церкви ударили к обедне.

Заборьевцы неспешно, широко крестились. Лесничий обратил внимание—крестился и поэт Жемчугов. Лесничего это навело на усмешку и он внимательно осмотрел его с ног до головы:— вот он, тот самый Фадей Жемчугов, про которого в среде волостной интеллигенции рассказывают диковинные истории.

Жемчугов высок, худощав и очень широкоплеч. Волосы у него густые—цвета соломы, жесткие и длинные и зачесывает он их назад, бороду и усы бреет раз в неделю по субботам и если взяться определить его годы по лицу, то обязательно годов десять недодашь. ни за что не решишься дать ему сорок шесть лет—его настоящий возраст. Настоящее имя и фамилия Фадея Жемчугова было больше известно народному суду, а в селе его звали Магометом.

В батрачки к себе он подыскивал девушек и обязательно каждую совращал. Во время ухаживания и в первые месяцы сожительства он писал им любовные стихи и так как таких историй уже насчитывалось восемь, то стихов накопилось толстущая тетрадь. Заметив у батрачки приподнятый живот, жена его—худенькая, бесплодная, на тонких до крайности ногах, подслеповатая, с лицом совы женщина, с разрешения самого Магомета выгоняла батрачку.

Несмотря на то, что Сова в этом случае выполняла волю мужа—забита она была до предела и без его разрешения пикнуть не смела,—Магомет впадал в меланхолию, подолгу то-сковал и грамотным изгнанникам посылал стихи.

На суде он имел неискоренимую многими смехотворными провалами привычку отпираться от отцовства. Тогда судья перелистывал дело и читал его стихи, представленные батрач-кой суду.

— Ты вспомни липу за рекой...
Вчера, сидя на этом месте,
Воскликнул:—Мотя, Мотя, друг ты мой,
Когда опять мы будем вместе.

Прослушав последнее четверостишие, истица поспешно вытирала глаза платком и высказывала свое удивление об этом человеке.

— В которое время бывает ангел, а не человек, а в дру-гое—готов замучить на работе. До баб смирной, а до мужи-ков зверь-зверем.

А четверостишие это читалось так:

Когда умру, когда скончаюсь,
Ко мне на кладбище приди
И бугорок моей могилы
В цветочну клумбу преврати.

Стишки Магомета стали известны на всю округу, молодые батрачки завели моду обегать его. Пришлось ему довольствоваться малым. Девятый его кумир Катерина Зонтикова, вдова тридцати трех лет, низкорослая, широкая этакая, о которых говорят: „макарьевского пригону“. Когда у Катерины обозначился живот, Сова погнала ее из дому. Катерина решительно заупрямилась. Сова в злобном бессилии бросилась ее бить, но получила такую встрепку, что четыре дня вылежала на печи. Гнал ее и сам Магомет, но Катерина так голосила и жаловалась, что унимать ее сбегалось все село. Перед самыми родами Сова травила ее спичками, но Катерина оправилась быстро и принесла вскоре здоровую девченку.

Тогда Сова наметилась отравить ребенка. Катерина дрожала за его жизнь и не оставляла его ни на час. А Магомет гнал ее на работу. Из-за любви к ребенку, из-за боязни за него, Катерина не выдержала и ушла, определилась скотницей в Еруслановку.

Этой весной Магомет опять нашел молодую батрачку, но представитель рабочкома отказал в заключении договора и отговорил ее, приехавшую из Самарской губернии, от поступления к нему. Магомет нанял старика погорельца Назара Кривого.

* * *

Лето стояло ласковое, теплое, и в душу западала красивая мечта—хорошо кабы зимы-то не было.

Колхозники, получив в кредит сенокосилку и жнейку, с работой справлялись быстрее заборьевцев; закончив сенокос или жнитво, говорили:

— Еще бы столько...

— Так-то работать в большую охотку.

Осенью в третий раз пришел из Еруслановки трактор и будто женатый привел за собой молотилку. Рождайкин во время молотбы сидел на стульчике с ветряной стороны и кричал:

— Братцы, вот его работка. Любо-ота!

Тутукал, рокотал трактор... Молотилка звенела мощно и ровно и пожирала горы снопов. Вихрилась легкая пыль с мякиной. Комсомальцы убирали солому.

Когда подавальщик остановился смахнуть пот с лица и молотилка рассыпала густое и гордое гуденье свободного барабана, Рождайкин взвизгнул:

— Ребята, чувствуете ли вы, как радостно?

Но сейчас же молотилка захлебнулась и выпустила тихий поток соломы. И Рождайкин увидел, как вместо ответа колхозники приободрились и приналегли на работу с порывом вдохновения.

Наверху, в Заборье, стрекотали конные молотилки кулаков и глазела оттуда на Астрабат неизвестная, враждебная ти-

шина, все та же самая пугающая и неприступная, около которой дежурил советский закон, изловчаясь найти под ней убийц советской нови.

Щедриков божился перед милиционером:

— Вот икону сниму не трогал Савелия Иваныча. Я в бога верю и мне ни на кого руки не поднимать. Он у меня полдома под читальню снимал, потом я отказал—сын у меня женился. Вот он на меня по злости и наводит. У меня же четыре свидетеля, что я в этот день на Ерохином лугу был, семь верст отсюда. Свидетели у меня все в наличности, а у него ни одного нет.

Два уже с лишним месяца было спокойно, но все-таки астрабатовцы ждали беды, слыша от своих бывших „благодетелей“ постоянные намеки на бедствия.

— Погодите радоваться-то — у вас господь все отнимет, все у вас прахом пойдет, потому что вы для бога ненавистная тварь.

— Ты уж нам зубы-то не заговаривай—они у нас не болят,—отвечали астрабатовцы.

— Какой же ты человек, раз у тебя ничего своего нет. Сорина ты, а не человек.—Дунул и нет тебя.

— Брось арапа заправлять, все равно понятно, куда ты гнешь.

С молотью было покончено, и трактор с молотилкой пошли парочкой по отлогому скату к реке, потом, перебравшись через мост, легонько взбрели на угор и скрылись в перелеске.

В Еруслановке нынче был необыкновенный урожай, не хватало рабочих рук и астрабатовцы решили помочь совхозу.

Ушло человек шестьдесят. Остались почти одни бабы,—они принялись копать картошку—и комсомольская ячейка, готовившая спектакль и сельскохозяйственную выставку.

* * *

Ронжин дошел до середины комнаты и кривыми ногами свез за собой чистый половичек. Перекрестившись три раза на тяжелый киот с лампадой, он от шороха оглянулся назад. Сова расправляла смятый половичек.

Жемчугов, Шарфов, Мурыгин, Кобылкин, Стратилатов и Отроков сидели за столом и молчали.

Предчувствуемая важность суждений давила и связывала осторожностью и робостью язык. Ронжин повертел голову—комната была просторная, свежая и чистая, окна закрывали тяжелые вышитые строгим рисунком занавеси.

— Хорошо, Земчугов, живешь, приятно... По твоим-то делам, Земчугов, и не подумаешь, что ты такой чистоплюй,—проговорил Ронжин и закулемесил к столу:

— Ну, чего тут без меня высидели?

Сова подала водки и закуски. Магомет налил рюмки и, не дожидаясь других, выпил; не закусив, налил другую. Выпив три рюмки, потянулся налить четвертую, но вдруг резким движением отодвинул ее далеко от себя. При такой тяжести на душе, вино ни возбуждения, ни облегчения не приносит— он вспомнил это из случаев своей жизни и решил отказаться от вина, которое могло внести только путаницу в доселе замурованную засаду звериных, ошетинившихся чувств и воинственных мстительных мыслей.

Мало было в голове мыслей, которые бы могли оправдать и управлять тяжелыми чувствами, о которых Жемчугов в одном из своих стихотворений говорил „медведи духа моего“. Нехватало основательных мыслей, чтобы рассказать связно собравшимся всю горестность и тяжесть прочувствованной беды.

Жадный до жизни, до наживы, до женщин, страстный и порывистый Жемчугов переживал все общественные события села чувствами и был тяжелее, нагруженнее своих друзей, разбиравшихся в нашествии нови холоднее.

Хотелось забыть, не верить, что та приученная, обласканная жизнь, которая заботливо согревала и радовала его до сих пор, уходит и обещает никогда не возвратиться. Ее привольная и сладкая часть отпадает и остается только горе, скудость, унижения и чрезмерный труд. Всей силой своих обостренных восприятий ощущал он— вот-вот придется вставать на страдный путь обыкновенного низкого крестьянского существования.

Осенью предстояло коренное землеустройство с классовым подходом. Лучшую землю, разумеется, отхватят колхозу,— в сотый раз мысленно говорил себе Жемчугов, потом по жребию нарежут бедным и многосемейным, а нам где-нибудь у чорта на куличках... Да и много ли достанется на двоих-то? Десятина... Полторы. Самое большее— две. Тогда уж и батрачки не порядишь, и не развернешься ни в чем, не поглумишься над людьми и не пошутишь с жизнью.

Сейчас собирался Магомет сказать что-нибудь связанное, разъяснить трудность для их группы грядущих дней, но вместо этого только недовольно бросил в сторону Шарфова:

— Тоже человек хвалился, что дело сделаю и брался за ружье! Уж не мог с трех раз подстрелить эту уродину. Дивлюсь! Право, дивлюсь... Ходит-то он, как пеша вошь. И то не мог сказать.

Шарфов виновато, но с достоинством усмехнулся и развел руками:

— И чорт те знает— сам не понимаю, как он жив остался. Я ему прямо в башку наметился— сейчас, думаю, он у меня с костылями расстанется. Ударил... Гляжу— он на земле валяется. Потом вижу— заползал и стул на голову надел. Еще два раза ударил— не шелохнется.

— Такого зверя не мог уложить,—качает головой Ронжин:— кабы девки узнали, что ты такой меткий...

— Понимаешь, дядя, зло на себя берет. Наметился старательно—думаю в самую башку врежу, а он, лява, качается на костылях, как рубашка на ветру.

— Ну, что ж, выпивайте да разговаривайте,—хмурится Жемчугов. Шарфов отодвигает рюмку:

— Я алкаголь не потребляю.—И жалуется:

— У меня теперь выходит—сматывай все дело. Землю после передела всю отнимут; наградят землей на двух едоков— с плугом некуда выехать. А ведь, между нами говоря, земли-то у меня было до шестнадцати десятин. Тогда и все наши сельскохозяйственные машины не нужно, а ведь у меня их пять штук.

— Тебе-то еще не так страшно, Петр Егорыч, ты человек с головой, а образованному везде дорога. Ты можешь в город податься и там опять на хорошую должность сесть, протяжно рассудил Отроков:—а вот нам-то петля приходит.

— Нет уж теперь в городе не то... не первые годы. Теперь не вотрешься. Нечего и думать,—возразил Шарфов.

— Ну, что ты здесь произносишь,—напал на Отрокова Ронжин:—у него здесь такое дело закручено, а он его в город посылает сидеть за семьдесят рублей в месяц Ты соображайся! А про себя ты бы немножко помолчал—не от земли больше урываешь, а от торговли скотиной; значит, мало Progrываешь.

— Тебе землю надо, а мне не надо?—окрысился на него Отроков.

— И здесь уж дьявол орудует,—вздыхнул бледный тихий Кобылкин, содержатель секты странников-беспоповцев:— На таком важном сходбище вы поддаетесь дьявольскому наводнению и поднимаете в душах своих злобу. Не надо, братья, тревожить в себе зверя, не будем тешить мохнатого. Давайте думать, как бы отразить антихриста, который надвигается погубить нас. Думай, Ронжин! Тебе господь дал легкую на домыслы голову...

— Да ведь у нас седни воротилом-то Фадей Ильич. Он чего-то смекнул. У него, надо быть, есть что-то готовое.

Шафров отодвинул занавеску и смотрит: в окно кто не подслушивает ли. Далеко за селом, за огородами, за болотом горели костры. Через реку райисполком строил громадный деревянный мост. Сезонники варили ужин. Огни костров ворочались лениво, моментами касаясь друг друга и было похоже, что это боролись два медведя. На краю Заборья, на всегдашнем месте гулянок бушевали вечеровым страстным разгульем гармошки и слышно было, как утробно громко визжала, пела, хохотала хорошо откормленная заборьевская молодежь. И Шарфову неожиданно захотелось покончить с этим скучным собранием, уйти от стариков и этих гнетущих разговоров...

Непреодолимо потянуло к гармошкам, к девкам. Особенно ошутимо вспомнилось, как легко и радостно танцевать с Лелькой Отроковой тустеп; какая она зрелая и жаркая, и как многообещающе и влюбленно жметя и улыбается.

Около дома не было никаких шорохов. Шарфов поворотился и невольно посмотрел на Отрокова.

Посмотрел пристально и в голове промелькнуло: „Очень удачная девица, только надо вызнать ее характер, а то, если характером в отца, то очень плутиста и с ней невоготу будет жить“.

Жемчугов, изредка пристукивая рюмкой по столу, угрюмо, басовито говорил:

— Они нас из нашей колеи вышибают, а мы на них любоваться будем? Нет, врешь,—нас скоро-то не возьмешь!

На этом месте Жемчугов снизил голос до шопота:

— Вчера ночью Евдешка Коркина мне передала, что эта вся астрабатовская орда собирается итти работать в Еруслановку. Вот тут и не надо момент упускать: — все мужичье уйдет, а мы и сунем чуть-чуть огонька... Пусть одни бабенки в огне полощутся.

— По моему нищему разумению это нам всевышний знак подает. Указует перстом своим, что нам, православным, надо делат,—обрадованно рассудил Кобылкин.

— Так одним часом и слизнет всю эту соломенную вонь. Ночи-то стоят сухие... пылкие... да если от машины блонбер да рукав припрятать, то э-эх... — захлебнулся Ронжин, но сразу оборвал речь и почтительно прислушался, заметив, что седовласый заборьевский торговец, былой купец, Мурыгин хочет говорить.

— Ночь-то,—заговорил он дряблым бухающим голосом: — ночь-то, робятки, надо бы выбрать с грозой, с молоньей... Будто от божьей стрелы загорелось... Будто это на них божье ниспосланье. Вот так-то бы хорошо.

Распаленный Жемчугов возразил ему небрежно и непочтительно:

— Хорошо-то хорошо, да, где ты осенью возьмешь грозу?

Кобылкин ласково, или как называлось в секте — по-ангельски посмотрел на Шарфова:

— Вот у нас и послушник для этого подходящий есть. Паренек разумный, борзой... Вот он по легкости ног и добежит в серединке-то ночи.

Шарфов прикусил губу, потом, уставившись на него презрительным взглядом, раздельно произнес:

— Ты, божье дерьмо, сам пробежись. Тебе это полезно. За это ты святее будешь.

Кобылкин как бы для защиты наставил перед лицом растопыренную руку:

— Что ты, что ты, господь с тобой!.. Вздохни к богу! Это дьявол тебя мучит.

— Мы с Отроковым,—говорит Жемчугов и смотрит всем поочередно в глаза, спрашивая взглядом „не выдашь? А ты не выдашь?“—Мы с Отроковым это обсудим. Обделаем так, что звезды не заметят. А возьмусь, так уж сделаю. У меня ни одна баба не вывертывалась. Это нынче молодые с трех выстрелов только кожу царапают.

Широкие тонкие ноздри его большого носа чувственно и запальчиво раздувались.

— Вот и дело с концом. Час добрый!—Прочувствованно и скромно растянул Ронжин.

— Помоги господи,—перекрестился Кобылкин. Отроков тихо опускает на стол свой громадный кулак мясника:

— Что бы ни одного шопота, а то голову напрочь.

— Могила!—клянется Шарфов.

— Как ничего не говорено,—вторит ему Стратилатов.

За окном тошная темь. Огненные медведи разошлись. Гармошки отдыхают. Заборьевская молодежь мощным хором рассказывает гигантской тишине:

Накинув плащ с гитарой под полою.

К ее окну прник...“

* * *

26 сентября, в пятницу, около одиннадцати часов ночи в Астрабате смертельно завывала чугунная доска. Звонкий ее вой бешено стриг тишину.

Бобыльков, репетировавший в своем сарае пьесу ко дню урожая и коллективизации, вздрогнул, и на минуту застыл с поднятой рукой, так как играл темного старика и в это время проклинал сына.

— Ребята, что-то неладно,—прислушавшись бросил он. Распахнули дверь и осмотрелись.

Вдали на соломенной крыше сарая разгуливался, как стайка рыжих зверьков, огонь.

— Сарай подожгли,—нутрянным вздохом ахнул Фенин.

И на бегу уже кто-то кричал:

— Ухватили время подпалить, когда наши ушли.

Пока бежали, огненные зверьки свились в клубок,—похоже затеяли общую драку. Горел сарай, где стояли сеялка, сенокосилка, жнейка и веялка.

У сарая Савелий размахивал шапкой—казалось ему, что с шапкой в руке он будет повелительнее:

— Девушки, за водой. Ребята, вверх в Заборье—за машиной...

Девушки кинулись к домам, а навстречу им бежали испуганные бабы и только немногие из них тащили ведра воды. Ребята бросились сбивать замок у сарая, но он уже давно

был сбит. Внутри все горело—крашенные деревянные части машин трещали в огне,—сарай был подожен изнутри. Был только смысл спасать соседние сараи и тем остановить огонь. Предвиделся великий разгул огня по соломенному Астрабату. Комсомольцы бросились в Заборье за машиной... Девки таскали воду, старики плескали из ведер, но огонь от этого ни на секунду не смущался.

— Савелий, ты нас полегше—лазь на этот сарай, бей искры, а то он не выстоит.

Бобыльков вскарабкался на крышу, ему подали ведро воды, он мочил то и дело шапку, обтирал ей голову и лицо и все прихлопывал беспрестанно садившиеся на крышу искры. На сарае по другую сторону металась такая же фигура... Огонь шумел, как водопад.

Испуганные людские голоса терялись в реве огня. Без крику было страшно и люди кричали, стонали, ревели от дрожи и страха. В суматохе, в беспорядке и жути с трудом можно было разобрать связные слова.

— Слава богу косилку-то невредиму вытащили.

— Только одну-у?

— Одну-у!..

— Косилку еще выхватили!

Сильный грудной бабий голос беспрестанно повторял:

— Жнейку бы первую надо! Давайте вытащим жне-ейку!

— Тетка Анисья, нельзя... Сгоришь! Что ты в огонь бросаешься?—ухватив в охапку широкую тетку Анисью, кричал тщедушный комсомолец Гришечкин.

— Жнейку-у бы... Миша, давай вытащим жнейку-у!..

— Сгорела уж... Тетка Анисья, не лезь!

— Олимпияда с купиной пошла-а...

— Олимпияда, брось,—надрывался Фенин, размахивая пустым ведром:—не клади на нас позор, Олимпияда!

А шествие старух во главе с Олимпиядой скрывалось за чертой от света, от пожара...

— Скоро-ли вы машину-то подадите, че-ерти?

— Жнейку-у-ту!.. Жней-ку-у-у!..

С самого начала пожара вверх играла гармошка... А теперь сквозь шум и рев пожара прорывалась задорная и развеселая трель двух гармошек и с их трелью то и дело обнималась частушка,—заборьевская молодежь невозмутимо гуляла...

На сарае размахивал шапкой Савелий и в отчаянии вопил:

— Че-ерти, машину-то... что у вас ноги што ли отнялись?

И ему вторил снизу другой старческий голос:

— Долго-ли сверху машину спустить.. Бестолковщина!

— Погинем все... Без мужиков-то все погинем.

И голос Анисьи трубил:

— Бабы-ы, ведь жнейка-та пропала... Бабы... Жнейка-то!

- Не дали. Не дают...
- Машину не дали.
- Мы замок у депа сшибли.
- Рукава схоронены.. Бломбера нет.
- Наш Васька Голубев страшал их — в тюрьме всех сгноим
- ему парни заборьевские колом плечо отшибли...
- Парни-то кольями нас...
- Без машины-то зарез... Все теперь снесет...
- Бабы, жнейка-та-а!..

Шепеляво треснули стропила и крыша рухнула.

Над сараем поднялась метелица искр и горящих ошметков соломы и потом повалил громадными клубами дым. Шум пожара прорезал животный рев.

Когда спал дым все увидели—с соседнего сарая слезал-по углу Савелий—на нем догорала рубашка и штаны. И как-то быстро все заметили, что у него не было бороды.

Накалившуюся крышу сарая сразу охватило огнем. Недобравшись до земли аршин двух, Савелий рухнул на землю, его облили водой и оттащили в сторону. От залетевшей головни загорелся третий сарай.

— Таскайся!—завопил кто-то молодой, впад в бессильное отчаяние.

— Весь наш Астрабат снесет... Таскай именишко...

— Конец пришел...

— По-о миру пойдем!

Бедствие быстро размахнулось. Опустились руки... Бросили носить воду... И бабы убежали спасать ребятишек и свой скарб.

А у реки хрипели голоса—устанавливали к воде две машины, подоспевшие из ближних деревень, разматывали рукава. Прибежавшие сезонники принялись качать машины.

— Родные вы наши! Помогите!.. Погибаем!—слышался по реке голос Анисьи:—а жнейка-то у нас сгорела!

А в Заборье гармошка устало играла тустеп. Заборьевская молодежь, любуясь на пожар, отплясывала.

Под утро прибыл из Еруслановки Рождайкин с Епифановым и еще с двумя мужиками.

Сгорело пять сараев, четыре из них полные сена и яровицы. Рождайкин расспросил обо всем и велел мужикам трогать прямо в район. Их провожали умоляющими голосами.

— Постарайтесь там, а то они нас с земли сотрут.

— Неможно, чтобы суда на них не было.

Фенин смотрел на Рождайкина глубокими от боссонной мучительной ночи усталыми голубыми глазами и сказал:

— Архипыч, расшевели там всех... Парочку бы под расстрел.

— Ванька Бобков у нас уж засел в газету описывать. У нас сейчас собрание—будем резолюцию выносить о беспощадном наказании.

Проезжая Заборьем, Рождайкин крикнул толпе заборьевских баб у колодца:

— Э-эй, крали, скажите мужьям, чтобы в тюрьму собирались.

— Что это такое?— вскинулась на него краснорожая молодуха.

— А вот такое, что мне нынче виденье такое было.

— Ты, хромой чорт, святым-то не представляйся.

Еще что-то кричали и ругались бабы, но Епифанов шугнул лошадь...

Рождайкин, все на свете видевший и больше всех пере-страдавший, ничему особенно не удивлялся, ничего не страшился.

По дороге он спокойно высчитывал убытки и продумывал вслух,— как покрыть недостачу корма на зиму.

Утром пришли из совхоза все астрабовские колхозники.

Бобыльков лежал в горнице своего дома, весь забинтованный заборьевским фельдшером.

Умиравший был без сознания и говорил не дело. Олимпияда, не найдя в его словах себе ответа, начинала снова. Говорила одно и то же без конца.

Фенин долго морщился, слушая ее бесконечное приставание и не сдержался:

— Перестань, бабка Олимпияда, его мучить. Раз с тысяча девятьсот девятнадцатого года не может терпеть религию, мы к нему попа не допустим.

— Ты что суешься?... Твой что ли он?— закричала Олимпияда, обливаясь слезами, на что Фенин ответил:

— Мой... То есть наш!

К вечеру бред усилился.

— Даша... Даша,— кричал Савелий изо всей силы и, задыхнувшись, продолжал тихонько:— Ты, извиняюсь, не так переживаешь. Давай звонок... давай звонок... начали... начали, а у тебя ружье не заряжено... Вот, извиняюсь, курица... давайте выпишем инку... инку-у-ба-а... Вот не ожидал, так не ожидал... Приходится разводиться... извиняюсь, извиняюсь...

На закате солнца в страшных корчах он умер.

На похороны с „Красного Профинтерна“ приехал духовой оркестр.

Гроб был обит красной материей и несли его колхозники с кроткими застывшими лицами благоговейно и медленно, потому что кладбище недалеко—за верхним Заборьем, а день был ядреный и солнечный.

Вдали за рекой, как стена яркой древне-русской росписи, стоял лес. И в селе, и в полях сильно пахло гарью и из гроба смотрело лицо покойника, как уголь черное. Оркестр играл нестерпимо грустный похоронный марш Шопена.

За гробом тащился поголовно весь Астробат. Выступали тихо и мелко большими черными заскоруждыми ногами. Даже

малыши все шли, выпучив глазенки на красный гроб и на блистающие трубы оркестра, ведущие войну с солнцем, так хорошо приметную малышам.

Музыка разбредила страдальческие измотанные души астрабатовцев и многие бабы ревели: — они из-за нищеты такие несчастные, всю жизнь их обижали жадные и богатые люди, а теперь жгут. И мужики морщили бородатые лица, чтоб схоронить в бороде слезу.

На дремном кладбище с упавшей оградой оркестр играл „вы жертвою пали“.

На понуренные, усмиренные музыкой лохматые головы колхозников падали листья.

Тоненький бабий голос почти пропел:

— Олимпияда пропала.

Говорили речи представители райкома и шефобщества. Низко пронеслась стая дроздов. Погодя немного высоко в густо-синем, осеннем небе, около самого застывшего на одном месте белого облачка, проплыла остроносая ладья журавлей, смачно поскрипывая, будто уключинами. И опять тот же тщедушный бабий голос протянул:

— Олимпияда пропала.

Потом выплелся на ораторское место Рождайкин и, колыхаясь на костылях, заговорил:

— Память тебе вечная, Савелий Иванович Бобыльков!

Помолчал и повернул голову к молодежи:

— Вот, молодые товарищи, эта могила навела меня на думу вам слово сказать. Жил я в Германии, жил я в Венгрии, жил я в Италии, выходил с парохода посмотреть на Грецию и на Турцию и везде нашего брата в мешке держат и голытьба богатым деньгами зарабатывает. Мы вот русские вылезли из этого мешка, соединились в коллектив и желая положить кулака на обе лопатки, а он нас ружьем и пожаром, да еще убеждают, что мы, бедняки, — дураки и негодная тварь, и у нас ничего не выйдет и что голова у нас сильно слабая. Не верьте этому, не верьте. Вот Савелий Иванович, наш астрабатовец, был талант и не расцвел в большую голову из-за царизма, при котором протекала вся его молодая жизнь. Все вы сами знаете, что молодой Астрат хранит в своих рядах не одного Бобылькова. Они-то уж расцветут — я в это верю сильно, как в то, что моя нога никогда не поправится.

Вот я здесь при покойном Савелии Ивановиче и говорю — все у нас выйдет, что мы задумали и порешили и таланта у нас на все довольно, хватит.

Он говорил еще некоторое время о заслугах покойного перед Астратом. Потом заиграл оркестр и стали опускать гроб в могилу.

— Олимпияда-то пропала. И не простилась, — жалковали бабы.

— До Заборья дошла и где-то пропала.

Засыпали могилу по-мужицки крепко. Возвращаясь с госта, встретились с другим шествием: четыре милиционера вели одиннадцать человек арестованных.

Передний милиционер махнул в сторону рукой и астрабатовцы вместе с гостями послушно и быстро отошли в сторону и остановились.

Впереди шли Шарфов с Жемчуговым. Они смотрели куда-то в сторону, поверх людей. Сзади, как коряга, прицепившаяся к возу, тащился Золотой мужичек. Встреча вышла безмолвной. Все слова в эту минуту не годились. Никто даже не посмел отпустить какой-либо шутки.

К вечеру Олимпиаду два мужика привели из деревни Содомихи, что в шести верстах.

Она закинула подол сарафана на голову и боязно хоронилась. Изредка останавливала пустые, блуждающие глаза на первом попавшемся лице и робким дрожащим голосом спрашивала:

— А тебе не боязно? Гроб несут... играют... гремят... тебе не боязно?

* * *

В большом городе, на одной из тихих улиц многокорпусная больница. К самому заднему корпусу с решетчатыми окнами, пробираясь Рождайкин, приехавший в город на съезд колхозов. Он прослушал уже три доклада, сам выступал два раза в прениях, оттого чувствовал небывалую зарядку и потому с редкой настойчивостью пробирался в одну из палат. Наконец, он в палате. Здесь пели, смеялись, корчились в припадках женщины разного возраста.

Сиделка указала ему на Олимпиаду, которая в это время сидела на койке и перекладывала из руки в руку накопленные кусочки сахара. Рождайкин подошел к ней и, видя, что реального окружающего для нее не существует, спросил:

— Узнаешь ли меня, Митревна?

До сознания старухи дошел только шум слов. Обратив на Рождайкина свой пустой перекошенный взгляд, она спросила:

— А тебе не боязно? Живем душа в сахару, а все боязно... Огонь несут... Играют...

Он осмотрел ее пронзительным, все на овете видевшим холодным взглядом и сказал душевно и мягко;

— Ничего мне не боязно... Ты на вот поешь ягодок и поправишься.

И он подал ей тюрничок с виноградом.

Иваново-Вознесенск
1929 г.

ОСЕННЯЯ ПОЭМА.

I.

Не зацвести теперь траве,
Дню не пройти дорогой длинной,
Когда последний свой привет
Мы шлем ватаге журавлиной.
Прощайте, милые!
До вас
Не долетит привет ненужный—
Навстречу вам
Плывет Кавказ,
Лазурь морей
И ветер южный.
Тот край румяней и свежей;
Он व्यюге северной неведом.
Но от фабричных этажей
Не полечу за вами следом.
И здесь,
В холодной стороне,
Вдали от моря и Кавказа,
Напевы звучные ко мне
Приходят в гости без отказа.

II.

От фабрик ситценабивных,
Прядильно-ткацких
Шумен город.
Люблю, когда гудками их
До края налиты просторы.
Куда тут лезть колоколам!
Кричите на любые ноты,
Хоть расколитесь пополам,—
Не заглушить вам
Гимн работы!
Но говорить о вас всерьез
Сейчас, пожалуй, и не стоит—
Ваш голос
Жуткий, как мороз,
Совсем немногих беспокоит.
Под ярким солнцем Октября
Идут безчисленные звенья...
Грустит в листах календаря
Зачеркнутое воскресенье.
На горе старости слепой
Мещанству нашему на горе,
С мешками грузными ЕПО
Сидит хозяином в соборе.
Где крест вчера еще торчал,
Часовня теплила потемки—
Сегодня грудой кирпича
Лежат свсзенные обломки.
Кирпич уйдет на что-нибудь,

А щепень для ухабов нужен—
И поп работой не загружен,
И колесу ровнее путь.

III.

Когда дрема берет от скуки,
Кому природа—первый друг,
А я на уличные звуки
Меняю часто свой досуг.
Охота ли сидеть на месте,
Без дела по лесам бродить,
Когда от центра
До предместий
Наш город стройкою гудит?
От обывательских окраин—
(Судьбою их не дорожу!)
Своей избы плохой хозяин—
Я часто в город ухожу.
Здесь по часам люблю следить я,
Как—наши лучшие цветы—
Растут гиганты-общезитья
Взамен лачужной мелкоты.
Не дремлет сила
В блеске аллом!
Она потоком буйным бьет,
Она заводам и кварталам
О новом городе поет.
Уже теперь, под гром лебедек,
Дворцы бетоном зацвели,
Как будто в стае легких лодок
Плывут большие корабли!
Тебе, горбатая избенка,
Родная и худая печь,
Не знать
Моей отрады звонкой,
Любви сыновней
Не беречь!!!

IV.

Презренье форме допотопной—
Кричат поэты всех сортов,
Но звучный лмб четырехстопный
Я защищать
„Всегда готов“.
Мне не нужна седая древность.
Глаголов ржавая труха—
Я только музыку, напевность
Беру любовно для стиха.
Живому ритму все покорно:
Он есть в походке и в речах,
В машинном беге,

В искрах горна,
В труде прядильщика, ткача.
В размеренные льются песни
И сердца бой,
И трепет жил;
И гордо рвутся в поднебесье
Ритмические этажи!

V.

На редкость резвые ребята—
В глазах веселые огни—
За осенью—своим вожатым
Шагают ведренные дни.

Они идут по всем дорогам,
Поют в фабричных корпусах;
Они сверкающим итогом
Горят в восторженных глазах.
Неси, зима, свой белый холод,
Стучись морозом
В теплый дом—
Наш вольный край
Здоров и молод,
Богат весельем и трудом!
За снеговой кудрявой сеткой
Все так же будет нам красна
Заря советской пятилетки—
Индустриальная весна!

ПОСЕЛОК.

Наше время светит по иному—
Подружились с нами города.
Посмотри—
Бегут от дома к дому,
Рассекая ветер,
Провода.

Скучны были на поселке зимы,
Молчалив осенний полусвет.
Дни, как тучи, пролетали мимо.
Улетят—
И в памяти их нет.

А теперь встречаем вечер темный,
Словно гостя:—Проходи вперед!
Говорливый радиоприемник
В каждом доме речи заведет.

На березах белые повязки,
Как стекло, пригорки у двора,
Только нынче даже про салазки
Забывает часто детвора.

И напрасно в слободе соседней
Ждет пивная развеселых дней:
Скоро, скоро песнею последней
Прошумит метелица над ней.

Полюбили старики и дети
Узнавать от радио-волны,
Что творится на широком свете,
Чем края советские полны.

Не закроет пелена тумана
Нашу правду и чужую ложь...
А частушки Бедного Демьяна
Под гармошку сыплет молодежь.

Иваново-Вознесенск.

МИР—ДВОРЦАМ! БОЙ—ХИЖИНАМ!

В пожаре отцветания
Мой город
Ал и свеж.
Сегодня в нем
Восстание,
Сегодня в нем
Мятеж.
Пылает,
Звоны трав цедея,
В осеннем блеске рос,
Живая демонстрация
Акаций и берез. .

* * *

Зардевшись зорями, светлей,
Волнующе цветист и ярк,
Сиял мой город
Без церквей
И без бревенчатых хибарок.

* * *

Души—гульный ветер—
День поят—
Веселей на свете
Нет ребят...
То ли дело—руки;
Крепь, напор.
Их ли в сладкой муке
Ждет топор?
То ли дело—наш
Шаг—верста,
Меряют дороги
Неспроста.

В огненном мерцании
Вольных голосов—
Закачались здания
Шумных корпусов...
Песню затянули;
В грохоте земли,
Ленты длинных улиц
Маком зацвели:

...—По лесам, лесам, лесочкам
Бьют кирпичи и молоточки,

Бьют стальные молотки!
Солнце сыплет нам лучи,
Мы таскаем кирпичи,
Таскаем кирпичи!..

* * *

Под блеклыми окошками,
Роняя песнь волной,
Строитель шел с гармошкой—
По звонкой мостовой.
— Эх, песня забубенная!—
Гармонья—бахрома!

Глазищами оконными
Дивуются дома...

И шли, под пенье „венки“
С великой жадной жить:
Мансарды, пятистенки,
Больные этажи...
Ворочая громами
Фундаментов, дверей—
Шли дома стадами
Сорвавшихся зверей...
Фонарь в нетрезвом виде
Качался на углу,
Колочью обидой
Прокальывая мглу.
Фонарь бутон повесил
На митинг домовый..

Строитель жизнью
Весел,
Строитель сам не свой.
— Пусть здания, зовущие
Забуть лесную грусть,
Лучат восторг в грядущее
И слышат звездный хруст.
Когда и солнце
Ближе к нам,
Когда дух жизни
В нас:
— Мир—дворцам!
— Бой—хижинам!!!
Кричу в победный час.

Иваново-Вознесенск.

ТОПОЛИНЫЙ РОСТ.

(ПОВЕСТЬ).

ПРИСТУП.

Вот она—рабочая молодежь.
Родина моя, комсомол мой.

А. Безыменский.

...В моей комнате два окна.

В два окна видно немного, но я хочу видеть многое. Поэтому вечером, когда скрипят легкие сани и пофыркивают авто, я сижу за низеньким столиком и читаю книги. Близу рука луна заглядывает то в одно, то в другое окно, но ничего не понимает в тригонометрических формулах или в теории цены производства по Липидусу-Островитянину.

И когда я гашу электричество и ложусь спать, она еще шарит прозрачными селенитовыми пальцами по столу.

Но снег скрипит все мягче и мягче, а с юга иногда дует хороший ветер, поэтому я хочу говорить о весне.

Сережка Калашников,—подручный слесаря из паровозного депо, размахивая наганом, в восемнадцатом году перевернул наше сердце и оно забилося по новому.

Комсомол...

Мне скоро двадцать два года и я гляжу на мир большими глазами. Я романтик,—в груди моей клокочет весна, и мне кажется необыкновенным, что Сережка Калашников, чумазый парнишка, выращенный на цилиндрическом масле и саже Коппелевских паровозов, ходит председателем горсовета, притирая шиберные золотники у огромной машины, сконструированной Октябрьской революцией по чертежу Ленина и еще:

— Может быть я не написал бы этого, но твое письмо с клейким запахом тополя и ты сама—это на всю жизнь...

Какими бы мы ни были, мы неотделимы от нашего поселка, от тополей, пусть мы будем седые, и выступая на комсомольском собрании, скажем—

— Это было лет двадцать тому назад, когда вас еще не было—все равно мы неотделимы от весны.

Поэтому я хочу говорить о весне.... об одной странице из книги человеческой жизни.

— Наш секретарь Андрей, у которого золотая голова и руки, когда он у машины

— Александра Тренин, с баяном буянивший в переулках наших сердец,

— Васька,—с мечтательными глазами и непочатым порохом в груди,

— Белокурая девушка, с серебряным смехом — Нюра Махонина,

— Настька Удальцова, щеголяющая портфелем работника ГСПС.

— Солнцеосцы!

— Восколыхнутые теплым ветром, на груди со значками КИМ'а несут они новое невиданное солнце и голубые апрели.

Итак, о весне. Но... когда стает снег и небо заголубеет,— прежде чем лопнут на тополях пахучие почки изумрудной зелены, прогнившие и прелые шуршат прошлогодние листья, опавшие в сентябре, поэтому первое звено мое—

— августу.

ЗВЕНО ПЕРВОЕ.

И когда наступлет август..

I.

Дата: 1924 год. Август.

Подпись: Предгорсовета Калашников.

«...Дом бывшего управляющего Нагумовича предоставит в распоряжение ячейки ВЛКСМ для оборудования в нем комсомольского клуба»...

Это, и еще—

— Васька Токарев, политпросвет ячейки, горячий и тонкий в плечах... Александра Тренин, я и еще двести шестьдесят семь молодых сердец, рожденных городскими улицами, вынужденных ячейкой.

Город, какой к чорту город!—поселок с пыльными улицами, с большими и маленькими домами...

На краю города черными корпусами—механические мастерские и паровозное депо, а дальше—желтая Ока.

Над обрывом у Оки вечерами гудели тополя.

Пахучим горячим соком допьяна напивалась молодежь... И тогда пестрели разноцветными платьями дорожки, звенели девичьими и ребячьими голосами. На ветках висли желтые груши электрических ламп, а на лавочках надрывались гармоника.

Со всего поселка собирались вечерком к тополям—под тополями любили крепче, песни пели звонче, а иногда—

— шатия—отпетые головушки, под хмельком затевали бузу—горячо дышали в лицо, лезли грудью—Треть... треть...

И мелькали крепко сжатые кулаки, трещали скулы...

— Ванька Сахарный разошелся!.. Ванька дерется!..

А Ванька Сахарный, похожий на быка, становился поперек дорожки, нагибал шею по бычьей и мычал:

— Убью-у...

Но звенела снова гармоника, куралесили песенки, над обрывом у Оки молодостью гудели тополя.

А в стороне, за истоптанным цветником, уже заросшим, вместо нежных левкоев, лопухами и крапивой, стоял белый особняк, с круглыми колоннами, с верандой, сплошь заплетенной плющом...

Пустовал дом бывшего управляющего Нагумовича...

— Господин Нагумович! Вы верно никогда не думали, что в ваш особняк придут хозяевами чумазые ученики слесарей из паровозного депо?

А они пришли. Гомоном веселым наполнили полузаплесневевшие коробки комнат, ломали перегородки, строили сцену, отдирали доски, которыми были забиты окна—трещал белый особняк.

На треск, на шум заглянул Ванька Сахарный, вошел, обметая пыль клешами, попыхивая папироской, постоял в дверях вихрастый и встрепанный.

— Пришли?—спросил.

— Пришли, — сказал Васька Токарев, — пришли и круть-верть подняли, а ты пришел столбом стоять?—Вали, помогай.

— Без меня дураков много спину ломать, — ответил Сахарный, — вы валяйте, а наше дело... — не сказал Сахарный, какое дело, — плюнул и ушел...

Пришел товарищ Буистов, завкоммунхоз, чахоточный, едкий, спросил:

— Ломаете?

— Строим, — сказав баянист Александра Тренин, — разве не видите, товарищ зав?—строим.

— Пока ничего не выстроили...

— Товарищ заведующий, можно досок со склада получить?—спросил Васька Токарев, наш завполитпросвет ячейки железнодорожников и „главный директор великой постройки“...

— Досок получить?...

— Напишите, товарищ, отношение... Как предгорсовета... Я сам не могу...

— Волынка, товарищ Буистов, нам к сентябрю надо закончить всю музыку. Понимаешь, нам важно отделать к первому сентября, к МЮД'у...

— Скажите, Токарев, неужели вам не надоест возиться здесь?.. ведь вы, кажется, ничего не получаете за это, — спросил Буистов и прямо посмотрел в глаза Ваське, — скажите...

Стоял Васька перед заводом—тонкий в плечах, невысокий ростом, смуглый, то ли в самом деле родился смуглым таким, то ли почернел от копоти паровозной. Одернул Васька блузу, испачканную в пыли, сдвинул кепку на крутой, упрямый затылок и подергал губами. Так дергал губами он, когда что-нибудь злило его, тогда говорил он резкое, но тут только рассыпал в глазах озорной смех и ответил:

— Не надоест, товарищ зав, не может надоест... Вы понимаете, что значит жизнь строить? По-вашему, планы составлять, сверхурочные платить, а по-моему, копать вот здесь, кипеть, клокотать...

Буистов пожал плечами и вышел, не знал он еще того, что подумал Васька, а он подумал:

— Пусть посмотрит братва, пусть посмотрит, какие штуки загибает Токарев.

А когда ночь рассыпала звезды по синему полю —

Я, Васька и Лександра Тренин—наш отъявленный баянист и закадычный приятель, шли по главной аллее, а возле беседки на лавочке сидели Сережка Чернов—бузовый комсомолец и Ванька Сахарный.

И когда поровнялись мы с лавочкой, стал Сережка руки в боки поперек дорожки и стал глядеть Ваське в глаза:

— Так... значит...—сказал он.

— Так... — ответил Васька, будто разговор у них шел давно уж.

— Сколько ребер у тебя, Токарев?.. а? Они у тебя не считаны?...—смотри пересчитаю...

— А ты пропился что ли, считать нечего стало?—спросил Васька.

— Эй, Васька, отстань, не лезь в чужую жизнь... Будь я сто разов комсомолец, никому дела нет до моей личной жизни. Понял?

— Чего-то непонятно...

— Вы чего в ячейке бузу затеиваете? Вам Тошка натрепала... да?.. Нет, друг, ты сначала женись, сделай, а потом веди суды-пересуды насчет чужих жен.

— Не я веду,—ячейка говорит, по-моему тут и вести нечего... выгнать тебя из комсомола и с производства к чертовой матери,—сказал Васька.

— Так?—спросил Сережка,—а если вот так?...—он ударил кулаком в грудь Васьки и закричал:

— Ваня, бьют!..

Ванька Сахарный стал медленно подниматься со скамейки. Тогда Лександра Тренин сунул мне баян.

— Подержи-ка—и, взяв за грудки Сережку, шваркнул его через скамейку.

Ванька сел опять на место.

Была у Лександры сила медвежья и сам он был похож на медведя.

— Ваня... бьют...—блажил Сергей.

— Я тут не при чем,—отозвался Ванька, а мы пошли по дорожке, не оглядываясь.

— Уговор забыл?...—кричал Сережка Ваньке,—уговор... за что поил?.. а?..

— Дело-то, дело-то какое... а? Ты чего же, Ванька?

- Ты не ори!..—отозвался Сахарный,—ты чего орешь?
- В чем дело?
- А дело было в том, что—

II.

Липы уже отцвели и завяли, растеряв кремовое, резко пахнущее пойло.

Но в августе жарило, точно солнце сверх регламента разгорялось в прениях и крыло распаренную землю.

В райкоме на столах ворохи бумаг и веснушчатый Солнцев скучно тянул, диктуя машинистке:

— Проведение международного юношеского дня.. и предложить всем комсомольцам в порядке союзной дисциплины проявить самодеятельность, а также..

У машинистки вьются льняные волосы, спадают на лоб и она трясет головой... „а также“..

— Жара...— говорит она,— жарынь-матушка.. И Солнцев только сейчас замечает, какая стоит жара и пыль, которая густо лезет в открытое окно. Он расстегивает последнюю пуговицу у ворота вышитой рубахи и тянет...—„а также“..

Я и Васька сидим за политпросветским столом и Васька бубнит речь Ленина:

— „Мы говорим, что наша нравственность вполне подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выходит из интересов классовой“..

Лоб у Васьки широкий, прямой, упрямый. К нему липнут вспотевшие волосы и мешают думать о „нравственности“, а Солнцев, зевая, все тянет—„под личную ответственность секретарей“.. Он и не замечает, что машинистка не рассыпает пальцы по кружочкам ремингтоновских букв, а сидит, разыскивая глазами кусочек голубого пруда, мелькающего в зарослях тополей.

— „Секретарей“..— да чего же ты не пишешь... да чего же ты...—распаляется Солнцев:—Нинк?... а?..

— Жарко...—роняет Нинка.

— Я те дам жарко, я те вот задам жару-то... сразу холодно будет.

— Постой, Солнцев, искупаюсь... я после допишу...—И Нинка смывается быстрее секретарской мысли.

— Вот горе-девка,—говорит Солнцев,—купаться, а компания, значит, проваливайся.

Он садится к ремингтону и стучает одним пальцем—сек...—где же „р“-то? А?...—Стой, стой—рет-а-рей...

— Солнцев, как понимать нравственность?—спрашивает Васька.

— Секретарей ячеек...—тянет Солнцев—Как?... нравственность—это совокупность...

И тогда в комнату вошла Тонька Ветрова, та, что махнула рукой на комсомол и вышла замуж за бузового комсомольца Сережку Чернова.

— Ребята,—сказана Ветрова,— мне бы поговорить...— она одернула белую кофточку.

— Говори Ветрова,—сказал Солнцев, а я посмотрел на плоскую батистовую доску Тонькиной груди и подумал—поотвисли груди-то, повысохли, а была деваха, что надо.

Васька отложил „нравственность“ на уголок стола, прикрыл чернильницей, а Тонька сказала:

— Мне, ребята, жить больше нельзя... Хоть я и махнула рукой на все ячейки и вышла замуж, а теперь вот жаловаться на мужа пришла.

— Али плохо живете?..

— Плохо,—сказала Тонька и вдруг всхлипнула.—Куда я теперь пойду такая?—и мы заметили, что у Тоньки топырился живот.

— Такая,—повторила она,—а он попрекает, бьет...

— Вот сволочь-то, по-моему, мы ему пропишем,—сказал Солнцев.—Тоня, написала бы заявление...

— Напишу, я от такой жизни тридцать заявлений могу написать.

И она написала заявление.

III.

В апреле человечесьей весны...

— Вы знаете апрель?— Низенькие домики придавлены лаской сумерок... Сумерки облокотились о них.. Упали одежды прозрачные и легкие, одежды синего неба на землю и она задышала порывисто и часто—страстная, молодая, потерявшая рассудок.

— Но тут апрель человечесьей весны..

Это потому, что Тоньке шел девятнадцатый, и дело было не в том, что работала Тонька курьершой, а в том, что глаза у нее были чернее ночи поселковой, а икры ног—точно точеные.

Ухлестывала за Тонькой половина поселка, да горда больно и отшивала ухажоров непрошенных, покамест Сережка..

— Сережка Чернов.

Работал Сергей чертежником в механической мастерской и, кроме оклада, имел шелковистые волосы, завивающиеся в маленькие колечки, гитару с серебряным аккордом и дюжину разномастных галстуков.

Первый спец был Сережка по женскому вопросу и не устояла Тонька супротив глаз Сережкиных, а глаза—

— Нахальные, прямые, когда он глядит на девченку, то кажется, будто видит он ее голую и ошупывает, не стеснясь.

Поэтому был апрель человечесьей весны в груди у Тоньки, когда жаркой рукой Сережка разминал упругие девичьи груди. Опутал Тоньку апрель этот и стала она женой Сережки.

Но это был только апрель,—а когда наступает август...

Вечером, когда с улиц пыльных к Оке, в тополя потягивает, когда даже расстроенная гитара соловьем переливным заливаётся поет, один ходил Сережка Чернов по „тополям“ и тут-то и познакомился он с райкомовской машинисткой Нинкой Буистойвой. Была Нинка ветер-девка и крутилась то с одним, то с другим.

— А как же Тонька-то...?—спрашивали ребята Сергея,—жена ведь?...

— А положил я с походом...—на жену-то... в комсомольском билете не сказано о том, что двух запрещается иметь...—и ржал раскатисто, а когда наклонялся к Ниночке, на лавочке одинокой в „тополях“, то шептал:

— Жена... но я терпеть не могу... грубость, необразованность... Я не мог больше с ней жить. Я—передовой человек, комсомолец, активист... Вот с вами, Нина, только с вами я чувствую себя счастливым...

— Вот орел,—говорили ребята,—вот так спец обхаживать...

Это одни, а другие:

— Сволочь, истрепал девку, выпил и бросил...

А Тонька делалась тоньше от мужниных попреков и колотушек. Бывало и на собраниях, и в ячейке от нее живым, смехом брызги летят, а потом загремела примусом, забрызгала слезами одинокими, старинными, никому не нужными...

IV.

Разве горе Тошкино не было нашим горем?

Бюро решило исключить Чернова...

И по цехам забелели объявления—

В субботу . . . августа назначается комсомольское собрание— вопрос о Чернове Бюро.

И пошли по цехам суды-пересуды о том, что затеяли комсомольцы, о том, что незванно, непрошено полезли в чужую жизнь, в тайники сокровенные...

В депо бухтел Зотыч, старый чернорабочий, с бородой, заржавевшей от копания в грязи паровозных канав и засохшей от сидения возле печки.

— Вот вы,—говорил он,—вы, сукомольцы лезете в чужую хизь. Вот вы чертежника Чернова за его жену обсуждаете,

а это ваше ли дело? Да какая партия али какой министр, акромья начальника милиции запретит мне обращаться с женой?..

— Сукины дети! Чернов до дела дошел, — человек с положением, и за его семейную жизнь дело не ваше.

— Не хрена ты не понимаешь, Зотыч, — сказал тогда Максим Крылов, бригадир с капитального ремонта, — ты понимаешь, как есть, старый канавный крот, свою Аграфену. Долбил ты ее всю жизнь и всю жизнь проливала баба слезы, и теперь надо тебе сказать, что этого не должно существовать. Я тебе скажу: у нас в отряде три девки было. Вместе с бойцами кружили они по фронтам, вместе с бойцами в боя шли, а двоих и растреляли поляки.. За что же они, по-твоему, борьбу вели? Мы свободы добивались, а они, по-твоему, за ухват что ли боролись?

— Баба она останется бабой, — с философским раздумьем сказал Зотыч, — и бабов с мущинами нельзя равнять...

— А, по-моему, ежели вы, — обратился Максим ко мне, — будете таких под крылышко брать, не работа коммунистическая это будет, а... — и Максим присовокупил крепкое русское определение.

— Мы не милуем тех, кто против нашего строя идет, Максим, — сказал Васька, — мы за рабочую линию.. А потом — как общее собрание...

— Нет, — поддерживал Зотыча Граммофон Иван Николаевич — монтер депо, — нет, тут полное разногласие. Вы, комсомольцы, в клуб вдарились, жить артельно зовете, а в своей семье, со своей бабой в контрах... Какой же к черту у вас быт выходит?

— В том-то и дело, монтер, — говорил Васька, — в том-то и дело, что мешают нам такие вот прыщи, как Чернов, — мешают нам...

— Сами-то вы каждому мешаете, вам бы мешалкой по голому месту.

— Бросьте, — сказал Максим, — скрипишь ты, Зотыч, в могилу глядя, дай дорогу молодым — они за себя знают. Они гуртом на собраньи сор из себя выметать хотят, а ты в канаву, как крот, ушел...

— Баба — она все-таки баба есть.., — раздумчиво сипел Зотыч.

— И бабов собрания развращают в мужнином вопросе...

V.

Уже август был на исходе, уже выглядел дом Нагумовича по-новому, — сохли свежее выкрашенные полы, девчонки в комнате отдыха шили занавес, а Токарев сидел на веранде и в маленький блокнотик записывал цифры — колонками пуды, метры, рубли, прикидывал в уме, сколько пойдет на декорации, на синюю блузу...

Сзади подошла неслышно тоненькая хрупкая, как в августе шелковая паутинка, летит легкая, сядет на плечо неслышно и щекочет шею.

— Хозяйственником, Токарев, стал?

— А?—поднял глаза—Нинка Буистова. Нинка и Нинка, тысячу раз он видел ее, а вот сейчас прямо от цифр на живого человека метнул глаза и сразу по-новому увидел... Смеются глаза у Нинки, жгут Ваську Токарева.

— Что ты глаза-то выпучил, не видал что ли?

— Видел...

— А по-моему ничего-то ты не видел... Что ты, Токарев, за парень,—нет в тебе человеческого... живого нет, ушел в кружки свои да в цифры, вот и сохнешь...

— А может это для меня жизнь самая хорошая?

— Да что ты—глупее девченки?

— Отчего?

— Чудак! Что у тебя, две жизни что ли?—Молодой-то, чай, один раз бываешь, а ты свою молодость в кружок запер...— и засмеялась,—с девчатами не гуляешь. И показалось Токареву, что в глазах у Нинки запрыгали веселые бесенята и губы пуше разгорелись...

— А ты, видать, здорово крутишь?

— Не с кем!.. Хорошие-то ребята с разными цифрочками крутят...

— А Чернов? Из-за тебя, пожалуй, из комсомола вылетит?

Вспынула Нинка и хрустнула тоненькими пальцами

— Н-ну... с Черновым у меня ничего общего нет.. и знаешь, Токарев, не люблю я вас за это и тебя, и Солнцева, и Андрея... Сами монахами живете и других в эту жизнь втягиваете..

— Всяк волен жить, как ему хочется, сказал Васька, опускающая глаза, но если на комсомольцев пальцами будут тыкать, значит ячеейкинo дело присмотреться к ним.

— Нет,—сказала Нинка и положила руку на Васькино плечо,—я вот про что, вот про меня, небось, говорите: и такая и сякая, судите что, мол, ветер-девченка, а я от скуки... Думаешь, больно охота мне с Черновым-то гулять?..

— А вот не могу ж я...—и добавила не зная шутя, не зная печально:

— Ты вот пройдешь и не оглянешься.

Жгла Нинка политпросвета нашего и чувствовал Токарев, как полыхала она и разгорался сам огнем-полымем. Первый раз показалась ему Нинка такой человеческой, живой... глядел на нее—тоненькую, стройную и страшно захотелось, до сукости во рту схватить ее и поцеловать...

— Н-н-и-на!—Он взял ее руку в свою большую горячую ладонь.

— Ха-ха-ха!.. в правильную веру обращает—вот так сильно. Вот так кроет, а ты, Токарев, уши развесил, а?—хохотал

Ванька Сахарный, перелезая через барьерчик веранды, а я слушаю и смех разбирает. Вот так Ниночка-картиночка!

— Так-то, Токарев, — сказала Нинка и, пружинно повернувшись, пошла в клуб.

— Чего ты шатаешься, Ванька? — спросил, нахмурившись, Токарев.

— Помешал? — насмешливо ответил Ванька, — скушно, вот и шатаюсь...

— Что ты, места веселого ищешь?

— Ищу...

— А ты в комсомол валяй.

— А чего я забыл в вашем комсомоле-то? Ежели быть настоящим, то надо вам угождать, а то съедите, как Чернова...

— А по твоему Чернова в комсомоле держать?

— Нет, насчет Чернова это я так, Чернова вы выгоняйте, а говорю вообще я к тому, что молодым по два раза не бывает... — и потом засмеялся.

— Ежели я в комсомол приду, то вам не с кем бороться будет: вам же скушнее.

— Брось, Ванька, загибаешь!

— Всяк по своему загибает, Токарев, только у кого загиб-то сольется, а у кого — нет...

— Вот Чернов меня поил, поил, чтобы я впаля тебе, а мне что за радость не зашто не прошто драться, выпивши мне и так весело...

— Ты, Ванька, зря это, напрасно, сам портишь себя.

— Чудак, так ведь я же себя порчу, не тебя, а знаешь, по-дружески скажу, дурак ты... Такая тебе лафа насчет девок и прочего, а ты губу развесил — дурак!..

Ванька засвистел, заломил фуражку на бок и, загребая клешами, направился к ступенькам веранды.

— Вы стройте, — обернувшись сказал он, — стройте, а мы разрушать будем... а то вы все строить, да строить, а в интернационале-то сказано, чтоб и разрушать до основания... Ха-ха-ха!

Васька опять остался на веранде один с маленьким блокнотиком, но цифры писались корявые и неуклюжие, он поднял голову и увидел, как на одной из аллей, что стрелками легли от дома, мелькнуло Нинкино платье...

VI.

Собрание было многолюдное и шумное, поэтому собрали его не в фабкоме, где обычно собирались, а в „тополях“, на площадке, где вечерами шло кино.

Андрей, наш секретарь, рубил ладонью воздух —

— ...И скажу, — вот вы, комсомольцы, говорите: за новую жизнь, а сами по семь жен заводите — нет правды в комсомоле...

— А вот он сидит,—указал Андрей на Сережку.—Вот он И будто по приказу, повернулись головы, как одна голова в Сережкину сторону, а он сидел нахохлившись, не поднимая глаз. Губы его легли кривенькой складочкой, а прямая разутюженная—от колена до клетчатого носка легла, а Андрей рубил:

— Постановление бюро—исключить...

Дальше Настька Удальцова резала—

— Ясно.. ясно, ребята, орем о равноправии. Рабочих убеждаем, женотделы создаем а сами из жены, из товарища-то подстилку делаем.. да.. Нинка!.—Настька пошарила глазами по собранию—Нинки не было.

— Не пришла.. Я вот что хотела сказать, что и среди девчат есть такие, которые любому подол завернут...

— Ха-ха-ха!.. вот так режет,—гоготало собрание.

— Ладно, —отмахнулась Настька,—я режу и ладно. Она раскраснелась и волосы растрепались, она поминутно поправляла их, но потом бросила и трясла копной непокорных.

— А с Сережкой больше ни одна девченка рабочая не пойдет... и... исключить его надо...

Тогда Сережка незаметно шевельнул рукой, и с первой скамейки поднялся Медведев.

— Товарищи... тут говорили. Тут горячо говорили, но сказали ли существенное?..—Нет! Чернов не сошелся характером со своей женой, он ею не удовлетворен. Он—комсомолец активист, она—почти безграмотна. Выбирать надо одно: или мучиться всю жизнь, или... по моему, он прав. Нечего смотреть на то, что говорят старики, надо создавать свой быт. По моему, Чернова не исключать, он прав, а товарищам, поднявшим эту канитель, дать выговор...

Тогда, разгораясь и неистовствуя, вышел к столу чернявый, с сверкающими глазами и дрожащими губами, с черноватым пушком над верхней—Васька Токарев.

— Так,—сказал он и задушил в кулаке коричневую кепку.

— Так.—Все неправы,—прав Чернов. Значит, плюйте на все—живите, организуйте вместо ячеек гаремы, называйте это новым бытом и... он поднял руку и шваркнул об стол полузадушенную кепку.

— И слезай. Приехали. Дальше некуда.

— Ленин сказал—нравственность...

— Ты не Ленина, а жизнь подай,—крикнул с места Медведев.

— Жизнь... Ленин—жизнь, а жизнь вот она—Мать моя, старуха померла на прошлой неделе—видела в жизни она горшки, ухваты, да стирала чужое белье... пятьдесят семь лет это... пьяный придет—побой. Нас растила, и грудными сосали мы соленое молоко—пополам со слезами было оно... А ведь человек она... ребята... человек...—И рукой задрожавшей нащупал ворот рубашки и рванул.

— А Тонька-то? Ведь тоже человек, товарищ наш?..— значит ее туда?.. вот... она жизнь... Чернов в комсомол прошел курьером, с разносной книжкой бегал — ячейка в чертежную определила, учиться послала. Выучился и... чужим стал... нужен ему теперь комсомол? Нет. Он за него держался, пока до хорошего места не допер. Лучшую девку в поселке обработал и... Характером не сошлись!.. новую подстилку тебе под себя надо, а не характер новый!..

— Да, Чернов, не сошелся ты с ней характером, как и с нами не сошелся, товарищ Чернов... И мы со сволочью не сойдемся. Борьба тут: или Черновы или комсомол — две границы, промежутков нет!..

Он взял стакан с водой и стал пить и в тишине, воцарившейся сразу, услышали, как звякали зубы о стекло. А он махнул рукой и все еще дрожа, сел на свое место!..

— Слово товарищу Чернову, — сказал председатель.

Чернов встал, подошел к первому ряду скамеек и всхлипнул:

— Товарищи!.. я честное слово!..

— Займи, своего-то не хватит, — сказал кто-то.

Тогда он согнулся и увидел, что не верят ему — метнул глазами зло и отрезал без всхлипывания:

— Шпана!..

Шумели, как ливень, как буря и ничего нельзя было разобрать — о чем шумели и только тогда встал Андрей, наш секретарь ячейки, отхлынул шум и только листьями тополя шелестели.

— Ну, вот, — сказал Андрей, — предлагаю из комсомола исключить и просить дирекцию, чтобы из производства уволить!.. Тонька будет жить у Удадьковой, работать пойдет, а ребенок будет, — на средства ячейки воспитаем. Так?..

— Нет возражений, товарищи?..

— Нет!..

— Правильно!.. И опять шумели, гудели, кричали, качались листочки у тополей, обрывались и падали.

— Сегодня оборвали у кого-то листья, — звенят, — думал я, а тополя росли, звенели голоса. Значит — так нужно.

Так делается жизнь!..

Но я хотел говорить о весне, потому, что идут дни, делается жизнь, ветер все теплее и мягче, а ночи богаче воспоминаниями.

Итак — о весне, которая пришла в сентябре!..

VII.

Оранжевые закаты!

Блестящие вечера молодости!

Сквозь чащу дней и событий я протягиваю к вам крепкие руки на дружбу, на память!..

Но из всех вечеров ты встаешь самым близким — мягкий сентябрьский вечер...

Причудливая иллюминация Большой Медведицы, Южного креста и Плеяд соперничала с иллюминацией, созданной парнишками из паровозного депо, механических мастерских и девченками из города в комсомольском клубе.

Открывали клуб...

Штампованные, как арматура паровозов одной серии, речи слушались с необычайным вниманием...

Завязтые трепачи оказались гениальными ораторами...

Здесь комната отдыха.

Здесь спортсекция.

— Здесь, — Васька Токарев, сияющий и светлый, водил по комнатам клуба гостей, а в зале трубачи, обложив себя бруст-верами медных труб, готовились низвергнуться причудливыми маршами, вальсами, прелюдиями... А в открытые окна струилась прохлада, освежающая и ласковая, как молодость, и мы вышли из стен..

Я, Васька, Александра Тренин и Андрей, наш секретарь, пошли по темносиней аллее, исполосованной хлыстами электрических фонарей..

Под ногами сухо и звонко скрипел крупный песок. И Васька заговорил:

— Чорт возьми! Как хороша она, жизнь! Сколько нового, светлого в этом празднике нашего дня!..

— А-а-й! А-а-и-й! — Донеслось из темноты и —

— Убью-у!

— Ванька Сахарный! Ванька дерется!

— Вот она, ночь-то непроглядная, — сказал Андрей, мотнув головой в сторону крика. — Сколько сил надо выложить, не растратить на праздники, а будни наши разломать и выворотить..

— А я, — ответил раздумчиво Васька, — я не могу, — по мне есть стена — я буду ломиться, лезть, разворачивать, чтобы осколки летели.. а так ложись она, дорога — не пойду я по ней — что толку? — Идешь и идешь, а тут пусть кровь хлопещет, зато знаешь: горы vorочаешь..

— Приключений, Токарев, ищешь?

— Борьбы.

— Вперед, заре навстречу!

Гремел клуб, сиял огнями разноцветными, веселыми глазами окон вглядывался в темноту. С Оки рванул ветер, мотнул плакатом на клубе и он затрепыхался, как флаг, и показалось, что не ночь, а океан океанов, все воды миров слились в одно море и шумный каравль с молодыми веселыми Колумбами с красным флагом на мачте идет навстречу нам...

...„Заре навстречу“... —

— сотнями голосов пел клуб...

Прелюдия человеческой весны.

I.

— Да, это было весной.

Весной, когда сумерки плутают в кварталах низеньких домиков, а девчонки чаще улыбаются прохожим...

„Безусые энтузиасты“ из владимирских школ второй ступени с остервенением бросались сжатым курсом физики Цингера, готовясь к выпускным экзаменам, а секретарь укомола Солнцев рассылал для сведения по ячейкам план работы на зимний период.

— Когда в рабочем поселке сзади прокопченного депо, в тупике, заржавевший, исковерканный еще стоял паровоз серии Н 6/III, мы, шестеро встречающих семнадцатую весну комсомольцев, чумазы, как негры, возили в вагонетках уголь для кузницы и обтирали скаты паровозов среднего ремонта, потому что мы были учениками слесарей...

Это было в субботу.

А в пятницу Колька Макаров, экономист и Томский в ячейковом масштабе, на черных, захватанных, прокопченных стенах механического цеха вывесил ослепительно белые лоскутки бумаги:

„В субботу в 3 часа дня ячейка устраивает субботник, сбор возле депа“.

Чортовы гутари морозы! Они тянули из льда сосульки, развешивая их по карнизам.

А солнце сумасшедшее кололось в них радужой спектра и сосульки, не выдерживая, лопались, со звоном падая к подножию кирпичных стен в кучу обломков рельс, скатов и тележек.

— Братва... — говорил Колька, вознесенный на пьедестал опрокинутого цилиндра, — братва, мировая революция... по протоколу бюро нам надо выкорчевать загибший Н 6/III.

— Даешь! — закричала братва. — Даешь! закричало солнце, сломав сосульки, свесившиеся с трубы „загибшего паровоза“.

Если к семнадцати годам в организме еще не окрепли мускульные ткани, это еще не значит, что не окрепло сердце.

Сердце распорядилось мускулами и рельсы ложились к рельсам, кувалда хлюпала по зубилу, целующему заклепки и они летели к чорту, потому что весной заклепки, как соль, и швеллеровые, тавровые и двутавровые балки складывались пирамидами, очищая путь Н 6/III.

Проржавевшие дышла латунными, зазелеными подшипниками цеплялись за кривошипы, точно Чудаков, первый силач и матерщинник во всей кузнице, ухватил своими нерасцепляющими клещами...

Но сердце крепче ржавчины—снимались дышла, домкраты ставили на место выскочивший задний скат, паровоз готовился в путь.

Андрей, наш секретарь, у которого золотые пальцы и голова,—когда он подходил к машине, Андрей вывел из депо паровоз и осторожно, точно нащупывая новые методы работы, повел его на запасный путь к Н 6/Ш.

Радуясь приятелю, визжало ржавое сцепление. 150-фунтовое давление котла (давление сердца не измерено) и Н 6/Ш, дребезжа, потревоженный вылез из голова к воротам, к канаве— „капитальный ремонт“.

— Точка, братва!—заорал Колька:—точка! Этот паровоз еще будет катать по рельсам, воскрешенный братвой из механической ячейки.

— Если бы был оратор лучше Кольки, то мы бы его никогда не слышали, потому что оратора лучше Кольки не могло быть, поэтому не могло быть других речей, а была лишь одна.

Плавился баббитом в закрепленных здорово подшипниках вечер, и баянист Александра Тренин на лавочке возле клуба мучил гармонию.

Не от Александриной ли гармонию набухли клею почки у тополя?

Не от Александриной ли гармонию трещал лед на реке?

— Валяй Александра, валяй!..

И он валяя, С переборами рывкнул баян и в двадцать глоток рывкнула песня:

— ...Низвергнута...

— Поднимается солнце...

Песня текла по переулкам, отдавалась в рабочих казармах, где-то поддержали ее, а сын доктора Махонина стоял на веранде дома и тосковал.

Он тосковал о том, что попусту пропадает молодость, что отошли времена Егора Сазонова и Ивана Каляева, что нет революционной борьбы, он тосковал, а в уши била песня.

Он морщил лоб, и никак не мог разобрать слов, которые так легко взлетали ввысь, будто пели ее бесстрашные, счастливые Сазоновы и Каляевы, а он не мог разобрать.

...Чудак...

Это была прелюдия человеческой весны.

II.

Уголь и алмаз по химическому составу однородны. Алмаз блестел у механика на мизинце, оправленный в золото, а уголь мы возили в вагонетках для того, чтобы старый блудливый Зотыч, чернорабочий в депо, мог спокойно сидеть возле железной печки и рассказывать анекдоты из эпохи своей юности.

— Шкет, ты ученик слесаря,—говорил Максим, бригадир с капитального ремонта, ухватив меня за обсыпанную углем блузу,—ты ученик слесаря, но ты хорошо умеешь возить уголь, а не будешь уметь пришабрить золотник, даже так, чтобы он немного пропускал..

— Пошлите старого Зотыча к его матери.. и займитесь делом.

— Ребята!—закричал шопотом баянист Александра,—бастуем, не едем за углем, довольны Зотычу рассказывать похождения в трех сериях с продолжением, мы должны уметь налаживать инжентора и шабрить золотники.

— Мы должны уметь ремонтировать паровозы..

— Мы..

И тогда было сказано огромное, как кампаунд, все за-полнившее слово:

— Н 6 III.

— Комсомольской бригадой взять ремонт Н 6/III.

— Максим, Андрей, кройте на совет нечестивых угольщиков—на третьем тупике крытый вагон,—провозгласил наш посланец бригадиру капитального и секретарю комсомола, у которого золотые руки и голова, когда он у машины.

— Н 6/III?—Спросил Максим,—да, на нем и ремонту на рыжий волос на два месяца..

— Крой, брашка!—кивал Андрей,—ячейка поддержит, коли падать начнете.

— Максима за главного, Андрей да еще пара слесарей, остальные—брашка..

* * *

— А я ее, курву, за мягкое.. стой!—говорю, не уйдешь, а она..—сидел старый Зотыч, развешивая портянки на трубу, любовно и с нежностью.

— А она?.. спрашивал монтер, —Иван Николаевич Граммофон.

— А она: чиво?—говорит..

— Угля надо,—сказал Семен Чудаков, черный и закопченный, как бог, появляясь в дверях.

— Котье,—сказал нам Граммофон,—бросьте припиливать ваши подшипники и валяйте за углем.. А она, Зотыч?..

— Мы не пойдем за углем,—ответил Александра,—мы—ученики слесаря, а напильник качается у нас в руках, как сцепление у заднего буфера, мы будем припиливать подшипники, потому что мы должны уметь пилить.

— Рыжий чорт,—хладнокровно ответил Граммофон, в душу твою мать, в печенки, в верстак.. ты не поедешь, так поедут Васька с Ленькой.

— Ленька, валяй!..—А она, Зотыч?.

— Мы не поедem за углем. Надо взять Зотыча за мягкое место, пусть он возит уголь, если он уполномочен на это, а нам довольно обтирать пузо об угольные ящики, скажи механику, что мы просим, чтоб нас всей бригадой поставили на ремонт паровоза Н 6 Ш.

Легкое удивление проскользнуло тогда по рябому лицу Граммофона и, взяв за грудки Ваську, он приподнял его логонько, но с костным хрустом и спросил бархатно и тонко:

— Н 6/Ш, растыка?

— Да, монтер, — сказал вошедший Андрей, — мы хотим этот ремонт двинуть комсомольским залогом.. А Максим у нас за главного — передай это механику, монтер..

— Я тебе не ремонт, а самого за углем пошлю, Андрей, — сказал Граммофон, сверкая плешью.

— Пошли, монтер, пошли, пусть у маневровой „38“ инжекторы ни тинь-тиль-лин..

— Сволочь, — сказал монтер, присаживаясь к печке. Бережно перевернув портянку, Зотыч сказал:

— А она говорит: вот что, Зотыч..

— Сыпь за углем, старый кривошип, — сказал Граммофон.

* * *

На РКК раззорялись..

Слушали, постановляли:

„Заявление учеников-слесарей из паровозного депо“.

— Ты, механик, забыл, — говорит Колька Макаров, — экономист и Томский в ячеевом масштабе, — забыл закон о труде молодежи — гл. XII ст. 124 читается:

— „Подростки не должны быть отвлекаемы ни на какие, не относящиеся к изучению их квалификации работы“.

— А по твоему уголь — квалификация?.. да?..

— А что ж им делать?

— Поставь на ремонт, пусть приучаются..

— На ремонт не поставлю..

— Поставишь, механик..

— Постановили: требование учеников по закону удовлетворить.

На другой день приказ механика — заплаткой на стену:

— Предлагаю ремонт паровоза Н 6/Ш начать с 1 апреля с. г. Монтеру предлагаю поставить на ремонт бригаду учеников, назначив бригадиром Максима Крылова.

— И-эх, уголек, прощайте, — сказал Александра, прочитав приказ, — валяй Зотыч — говори анекдоты кузнецу Чудакову — он те скажет..

— Максим, два месяца?

— Не больше..

— Лопнем, а к первому мая, как пить дадим.

— Ночи прихватим, а в месяц выпустим... выпустим, Максимыч?

— Да с вами чорта сделаешь по чертежу без допуска одной тысячной, а не то, что... ишь, за контрольные пределы манометры вашей дури полезли...

— А все-таки выпустим!

III.

У Максима Крылова продолговатое сухое лицо и еще суше жена, тетка Саша.

У Максима есть еще приятель, Клементий Ворошилов. Когда-то вместе работали они в Луганске, вместе пошли на фронт, — Ворошилов повел отряд, а Максим был командиром сотни.

Сейчас Клементий носит ромбы и звание председателя Реввоенсовета Республики, а Максим успел наделать ребятишек и высушить тетку Сашу, потому что была у Максима одна слабость — выпивал он с начатием и окончанием каждой недели, а тетка Саша везла семью.

— Ты вот что, Максим, — сказал Андрей, когда мы приступили к ремонту, — вот что, друг, поддержишься уж...

— Насчет чего?..

— Насчет, — глядя на лопнувшую рессору, ответил Андрей, — насчет выпивки... и видно почувствовав, что теперь легче говорить — заагитировал — сам знаешь, как-никак, мы вроде пример теперь для депа, как-то оно, знаешь...

— Знаю... сам знаю и ладно, нахмурившись сказал Максим, и, помолчав, добавил, — значит „с начатием“ не будет?

— Ни-ни...

— Ну, уж ежели не пить, так работать надо нажимать...

Мы нажимали.

Вечерами, когда нежные хрустящие сумерки лезли под рубашку и ухватив за самое сердце, тянули на плотину к девченкам, мы нажимали — шабрили золотники, притирали клапаны, заливали подшипники...

В эти вечера мы подружались с каждой гайкой, с каждым винтиком паровоза.

Теперь он уж не походил на оборванного старика, скрюченного и заплатанного, был вроде инженера в черной блестящей куртке со светлыми пуговицами.

Мы сидели и курили тут же на верстаке, а наш знаменитый художник Васька писал суриком звезду на крышке дымогарной коробки впереди паровоза, которая светила бы чорт знает куда, вплоть до социализма, когда вошел чуть запоздавший Максим.

Странно усмехнувшись глазами в сторону Андрея, он шмыгнул в паровозную будку.

— Бутылку водки, робя, принес,—шепнул Александра, подглянувший за Максимом,—в тендерный ящик спрятал.

— Ладно, помалкивай,—сказал Андрей.

— Эй, комсомолия!.. комсомолия!!—покрикивал Максим,—Санька, чего у тебя фланец-то задом наперед встал, что ты, чай не на баяне клавиш перепутал.

— Андрей, погляди за Васькой с Ленькой, как они дышловые подшипники-то закрепили.

— На ять сделано... как у Форда!

— Ай, комсомолия, ну, закурим?

— Закурим! — важно отзывается Александра, — успевший поставить фланец честь-честью, — да чего-то пожрать хочется, вола бы с'ел...

— Пожрать,—смеется Максим, — а вот, постой, мы, так сказать, комсомолия сейчас с устанку-то с окончанием... — и не докончив, полез в будку.

— В мать твою, в паровоз, в комсомолию!.. Ты, Андрюшка? — полез он на секретаря.

— Я, Максим.

— Отдай добро,—какое имеешь полное право?... без этого нельзя, какое к чорту окончание выйдет?

Мы сгрудились вокруг Максима с Андреем, а Максим петушился, кричал и лаялся:

— Вы, комсомолия, меня переучивать вздумали, может меня пьяного сам нарком на закорках таскал...

— Постой, Максим,—хладнокровно отбивал атаку Андрей,—постой, про обещание забыл. Мы о чем уговаривались—чтобы ни капельки, а ты еще в депо приволок?

— Это твоя личная точка зрения, а ребяташки и завсегда пойдут за то, чтобы с окончанием...

— Максимыч, врешь... загнул, Максим Петрович, — заблажили мы.

— Мы тебе, Максим, вернем, вот она—на бутылку, пей Максим, но только как ты нам раньше был учитель и товарищ, то теперь нам с тобой не по пути... мы тебе—бойкот.

Максим ухватился за бутылку, но потом, когда сказали о бойкоте, он нахмурился и скороспешкой сказал:

— Постой, постой, Андрюшка, постой, это по какому праву бойкот?

Вспомнилось Максиму, как вот также в Луганском депо уговаривал он с Клементием двинуть бойкот мастеру... но тогда мастер был чужой... а тут на своего.

— Постой, это как же?.. да, ребята, ведь я за нее деньги платил али нет?.. ребята?..

— Максим, мы тебе сложимся и деньги сейчас отдадим... только, чтоб никакого пьянства.

Максим стоял в нахмуренном раздумье, потом вдруг:

— А-а!... мать твою в душу!.. р-раз!..

Не успели мы опомниться, как крикнула о груди старых колосников нераскупоренная бутылка.

— Во! Вот это я понимаю,—заболтал Лександра.

— Уйди, кот,—отстранил его Максим, и, хмураясь, быстро пошел в кузню.

— Эй, Андрюшка,—раздался оттуда его голос скрипучий и ржавый—буфер готов, берите...—ну, поворачивайся, поворачивайся... комсомолия!

— Т-э-э-э-к-с!—глубокомысленно протянул Санька.

— Сволочи вы все-таки!—сказал Максим.

IV.

Великолепное солнце шагало по небу. Это утро несло плакаты первого мая на демонстрацию сердец.

Палило и жгло. Наш плакат яркостью соперничал с солнцем, буквы орали о производительности труда.

Если бы академики, профессора медицины взялись измерить температуру наших сердец, их брови вероятно поднялись бы выше лысин, а руки задрожали и не могли бы записать ни одной формулы, так велика температура наших сердец.

Так горяча была наша кровь.

Площадь, единственная в поселке, была забита народом, музыканты надрывались, выдувая свои легкие в кларнеты, тромбоны, корнеты, обложив блестящей медью огромную трибуну.

— Слово имеет... губкома партии... Ширман...

— Яков Ширман—литейщик Ширман—от имени губкома партии...

— Товарищи!.. Мы сегодня приветствуем не только с первым мая, но и с новыми победами на фронте борьбы... Мы строим текстильные фабрики... Мы строим в нашем городе стеклозавод-гигант... Вчера я присутствовал при испытании паровоза, отремонтированного комсомольской ударной бригадой... Ребята сумели при наивысшей интенсивности труда закончить ремонт не в 2 месяца, как это полагала дирекция, а в месяц. Этот паровоз—их первомайский подарок республике...

Что делалось! Ломилось все от криков; аплодисментов...

— Сюда! На трибуну ребят!

— Даешь!

Даже Граммофон неистово хлопал в ладоши и сверкал плешью. Кто-то подталкивал нас к трибуне.

— Где Максим? Где наш бригадир?—спрашивал Андрей.

— Вот он я!—ответил смеющийся Максим, протискиваясь к трибуне,—от вас ни на шаг.

— Ф-у-ты, какой Максим! Сегодня он прицепил к праздничной блузе орден Красного Знамени..

— На трибуну! Даешь!—кричала толпа.

С расплывшимися ртами, взлохмаченные, как солнце, стояли мы.

— Вот герои сегодняшнего дня—вот...—сказал Ширман.

Андрей хотел говорить, но за криками „ура“ ничего не было слышно, и тогда, когда стало потише, начал Максим.

— Товарищи, мы с Клементием с Луганска на белых жали, не дрейфили, а теперь, коли паровозная канава траншеей стала, когда фронт новый пришел, мы также...

— Нажмем!..—закричали мы,—нажмем!..

А в толпе стояла сияющая тетка Саша и рассказывала налево и направо:

— Не пил, милые, не пил!.. Бывалочи и с начатием и с окончанием, а тут, как встал на ремонт с этими, так весь месяц ни капельки не пил!..

V.

Еще не успели остыть горячие митинговые речи, еще первомайские плакаты пестрели по улицам, как заварилась буза.

Братва копошилась около депо, налаживая расхлябанную дрезину, когда пришел рассыльный из завкома и наляпал на коричневую стену объявление:

..На курсы по повышению квалификации ИТС направляет т. Медведева, подручного слесаря из паровозного депо.

Руководитель ИТС Яковлев ..

— Вот так крести-козыри!—сказал Александра.

— Мишку Медведева,—раздумчиво повторил Андрей, дочитав объявление.

Прошлый год в комнатку бюро ячейки зашел парнишка, плотный, чернявый, румяный... Подал Андрею билет комсомольский. Билет все по форме.

— Вот на учет встать, товарищ секретарь, и на работу направьте...

— Вот так здорово,—ответил Андрей,—а ежели у нас безработных до чорта?

— Вы, товарищ секретарь, только напишите механику, а там...

— Да какая у тебя специальность-то?..

— У меня специальность вообще... одним словом... да вы напишите...

Интересно Андрею: как это устроится,—написал, но, передавая бумажку, сказал:

— Я тебя предупреждаю все-таки: безработных до чорта.

А на другой день механик брякнул приказом:

— Принять Медведева М. на должность подручного слесаря..

И вышел интересный парнишка на работу. Ручник душит, за самое горло берет... Напильником как зыбкой качает, спросят полдюймовую гайку принести,—он три четверти тащит...

Смеялись слесаря, монтер механику доносил, но Медведев остался работать, только не сошелся он с брашкой—не ко двору пришелся.

Поэтому, глядя на приказ, протянул Лександра:

— Чудны дела твои, господи, а механиковы — почудней будут...

— Ребята, — сказал Андрей, — по-моему надо вмешаться в это дело, на курсы надо Макарова Кольку послать. Кольку мы знаем, — свой парень и производственник хороший...

Вмешались ребята и пошла завариваться, бродить буза.

В фабкоме,

в ячейке,

в кабинете директора,

— пошел накручивать комсомол.

А через неделю маленький вокзал принимал гудящую брашку.

Провожали Кольку Макарова на курсы.

— Валяй, — говорил Андрей, — вертайся комсомольским монтером.

— Свой едет! — говорил Васька, — недаром раззорялся я на всех бюро, да во всех кабинетах...

И вот уж поезд растаял в предвечерней дымке, потонул за поворотом.

Братва смотрела вслед ему — вслед будущему, евоему монтеру.

— Ребята, не забыть нам этого! — кричал Лександра Токарев, — не забыть!

— Я тебе, — сказал Медведев, подходя тихонько к Токареву, — припомню, если забудешь..

Т А Л К А.

(ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА „ТАЛКА“).

Совет нечестивый.

Утром, первого июня, Илья Петрович сидел почтительно на кончике стула в столовой Александра Ивановича перед огромной пышной картиной, изображавшей улицу китайского города.

Илья Петрович копотливо вынул книжечку и из нее листочек.

— По сем, Александр Иваныч, благоволите разрешить обнародовать вам немалый перл.

Коврин кивнул головою.

— Перл сей состоит в донесении вице-губернатора Сазонова.

— Да, слышал,—мрачно сказал Коврин.—От дурака к дураку приехал дурак и дуростью понесло. За семь верст. Продолжайте.

Митя подозрительно посмотрел не пергаментного отца, на невозмутимого Коврина и, заметив скользкую лукавую улыбку на лице Софьи Владимировны, скромно опустил глаза опять в стакан.

— Именно,—значительно кивая головою, сказал Илья Петрович.—Поелику тут без Коврина не обошлось.

— Читаю,—тоненьким голосом сказал Замуравкин и надел золотые очки.—От 31 мая сего года.. Обратите внимание! „По соглашению с прокурором, жандармским офицером и полицеймейстером...“

— Кожеловскому я сделаю внушение,—сказал Александр Иваныч.—Ему благоглупости не к лицу. Продолжайте.

— „Решено не разгонять рабочих, собирающихся за городом, так как цели это не достигнет и только снова возбудит озлобление в рабочих.—Итак—не разгонять, Александр Иваныч. Продолжаю.—„Но вместе с тем решено арестовать всех приезжих агитаторов, арест производить без шума и когда будет удобное время. Неоспоримо, что все так называемые социал-демократы в настоящее время смотрят на рабочих только как на средство ускорить революционное движение...“

Илья Петрович злобно хихикнул, снял очки, положил бумажку на стол и сказал, смотря в упор на Коврина:

— Не разгонять и ждать для арестов удобного времени. Что это, Александр Иваныч, скажите на милость? Может быть, вы понимаете, а я нет.

— Когда военный начинает умничать, он впадает в глупость,— сказал Коврин и, взяв копию донесения, еще раз прочел ее.— Слава богу, штыки начинают думать. И думают, конечно, как теленок на льду. Озлобление рабочих им после девятого января не дает спать. Плохо.

— Плохо, Александр Иванович.

— Тогда так,— спокойно вставая, сказал Коврин,— чем нам депутатией ехать к вице и разводить всякую этикетность, не вызвать ли нам его превосходительство к Семен Марейчу? И хвост его блестящий—Кариони, Шлегели и прочее... Что вы скажете?

Через час в больших комнатах Дергулева собралось отменное общество. Тут были, с одной стороны, вице-губернатор, Кариони и Чернявский, Шлегель и Левенец и, наконец, Свирский. С другой—хозяин дома, Замуравкин и Митя—спутник отца якобы по причине недомогания Ильи Петровича. Тут же были фабриканты: Маракушев, Фокин и старик Кашинцев и, наконец, Павел Куприянович Катушкин, директор Куваевской Мануфактуры.

Александр Иванович приехал, когда общество уже достаточно нажужжалось. Впрочем, разговор этот, в ожидании Коврина, был несколько приглушенный, под сурдинку. А вице-губернатор даже и совсем не проронил ни одного слова.

Александр Иванович быстро и бодро вошел в гостинную, быстро осмотрел всех живыми черными глазами, пожал руку угодливому хозяину, и, не здороваясь с остальными, держа в руке цилиндр и перчатки и гордо подняв голову, остановился посередине комнаты. С одной стороны было твердое именитое купечество, с другой—шатающаяся власть.

Коврин резко повернулся к Сазонову и сказал внушительно и с достоинством, слегка погрозив пальцем:

— Ваше превосходительство! Никаких третейских судов.

После этого он обошел всех, бегло и небрежно здороваясь, и опять встал посередине.

— Ваше превосходительство!—и вдруг поискал глазами и остановился на покрасневшем Свирском!—Я приехал и, представьте, не узнаю свой народ. То-есть своих рабочих. Прогресс изумительный!.. За три недели ваши м-м-удрые мероприятия внесли в среду рабочих полный маразм. Они, ну, просто одичали, так сказать, и все буквально смотрят зверем. Я никак не могу пустить в ход фабрики. Я боюсь и наталкиваюсь на Талки, да, да... Небывалая доселе вещь! Именно, какие-то Талки, как палки, парламентаризм какой-то вбили им в мозг.

Возневанск, нет, это уже не Возневанск—это трибуна, это место для экспериментов парламентаризма. Блестяще!

Александр Иванович сел и вынул письмо губернатора. Он будто собирался еще что сказать, но ничего не сказал, лишь резким жестом предложил ответить вице-губернатору.

Сазонов встал.

— Выслушав ваши слова, Александр Иваныч,—потупившись, начал тот:— могу лишь подтвердить общее мнение: в лице старшего инспектора имеем весьма полезное лицо для государства. И нападки...

— Что вы понимаете под государством?—воскликнул иронически Коврин.

Сазонов вспыхнул и выпрямился.

— Государственная власть должна и вынуждена одинаково иметь в виду все свои сословия,—более и более повышая тон, заговорил Сазонов.—Мы хотим отпихнуть от себя вопросы экономического недовольства. Мы хотим в распри двух сторон быть третьей и нейтральной стороной, и даже—справедливой стороной. Мы думаем, что и сами рабочие могли бы явиться как-никак органом для улажения различных столкновений и беспорядков. Рабочих нужно превратить в правильное сословие, ибо сословие есть не что иное, как государственно признанный и урегулированный класс. К сожалению, российское торгово-промышленное сословие, обособив себя от власти, не посвящено во все изгибы дальновидной и прозорливой политики начальства и не только не сочувствует его предначертаниям, но даже.. повидимому..

Сазонов несколько замялся и, понизив тон, проговорил угрожающе:

— Противодействует.

И сел.

Громкий говор возмущения прошел по купечеству и неожиданно Илья Петрович поднялся со своего стула и, тряся головою и побледнев, сделал два шага к Коврину. Но он ничего не сказал Александру Иванычу, только развел руками. Затем приблизился к вице-губернатору и, глотая некоторые слова, заговорил быстро, в самозабвении:

— Ваше превосходительство, я потрясен! Позвольте по слабому разумению нашему понять, что органы, коим явно оказуема приверженность ваша и егермейстера двора,—суть Совет талочный, Совет нечестивый.

Не ново новшество подобное: московское охранное отделение завело в свое время при покойном великом князе, ныне убиенном, совет механического производства и совет ткачей. Но зубатовская мысль сия возымела ли тогда должный успех? Никакого, ваше превосходительство! Смею вас уверить. Как можно неопытным рабочим,—ткачу и кузнецу,—поручить проводить целую политическую программу?! В Одессе, в девятьсот третьем, вспомните-ка, что натворил независимый союз рабочих с явного поущения зубатовских чинов! И кто, кто в сем деле был ставленник власти, кто повел рабочих на разгром промышленности? Стыд сказать, ваше превосходительство. Спаси Христе! Хуна Шаев Шаевич, еврей пархатый,— вот кто был рукою правительства. Фабрики тогда понесли

в Одессе не менее шестисот тысяч рублей убытку, не считая порчи машин. Однако, все сие было еще ничто: вами потворствуемый талочный совет ударит нас больнее!

Сказав все это, Илья Петрович сел в изнеможении, продолжая еще брызгать слюною и что-то шептать себе под нос.

Встал Александр Иванович. Он говорил долго, но спокойно, роняя слова обдуманно. И речь его иногда принимала форму властного приказа.

— Никаких советов, никаких собраний на Талке, никаких третейских судов и разговоров! Вот какую программу закрепить вам, ваше превосходительство, пока.. пока не поздно. Правительство, десятки лет опирающееся на нас и имеющее в нас действительных защитников установленного строя, выступает теперь против промышленного сословия. Оно отчуждает от себя людей порядка и толкает финансовые круги на путь политической оппозиции. Та ложная деморализующая система, которую пыталась насадить Москва, не выдумана одним Зубатовым, еще сам железный Басмарк убедился в ее неосновательности, и политическое невежество вновь вытаскивает то, что уже забраковано историей. Рабочий вопрос зачем-то вырвали на улицу. Надо его загнать под крышу. Пропаганды и поджигатели должны быть отмечены решительно. Всякая поблажка—неисправимый вред! Если всему этому не будет положен предел быстро-быстро, то предупреждаю вас, ваше превосходительство, вы и еже с вами будете наивно удивляться, что находятся такие чудачки, которые посвящают свою жизнь ведению фабричных предприятий.

В большом возбуждении, будто выпоротый хлесткими словами Коврина, возвращался с этого совещания вице-губернатор. Письмо и директивы из N-ска и нажим фабрикантов,—как все это согласовать? Не рано ли вступать в атаку, ибо что знают штафирки в тонкостях военного дела? Им ли давать советы и приказы опытному рубака Сазонову? Но взвесив про себя все „за“ и все „против“, чувствуя, что ему не по плечу роль дипломата и уговаривателя, вечером, в присутствии офицеров, Сазонов решил—пора!

2-го июня с утра на воротах всех фабрик и на длинных возневанских заборах висел грозный приказ:

„Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся к реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных нужд, занялись вопросами государственного значения, при чем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу возможным далее допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города и предупреждаю, что виноватые в нарушении сего распоряжения будут подвергаться законной ответственности.

За Губернатора

N-ский Вице-губернатор Сазонов“.

В тревожную ночь со 2-го на 3-е июня в домике Рыжовых долго заседал Комитет и несколько человек из Совета. Спорили и шумели, забыв про всякую конспирацию. Ни к чему не пришли, пока Николай Павлыч Грачев, даже и он сильно утомленный, не отодвинул занавеску, открыл окно и потушил нечаянно свечу:

— Что и требовалось доказать,—сказал Грачев, взяв в руки подсвечник.

— Светает, —сказало несколько голосов с облегчением.

— Да, светает,—согласился Грачев и осмотрел бледно-синие вытянутые лица всех.—Уморились ребятки?

— Баста. Кончай!—нервно встал Дунаев и махнул рукою.—Слышь петухи захлебнулись. Утро вечера мудренее, Сазонов Леонтьева ядренее...

Так и разошлись, не приняв окончательного решения; пусть Талка завтра сама вырешит,—итти на переговоры по отдельным фабрикам или обождать. Итти по фабрикам,—значит, склонить головы... И сильно не хотелось делать уступки, разжимать кулак, разбивать самим великую стачку. Но приказ Сазонова не собираться пахнул порохом. Не за себя было боязно, а за тех многих, которых вели. Так лоцман, подъезжая к опасному месту, каждый раз и снова ждет неожиданных встреч и, сжимая руль, готовится к быстрым и рискованным поворотам. Нужно в ответ врагу сделать хитрый ход,—но какой?.. В какую сторону извернуться?..

Молодой и крепкий, как и подобает хорошему слесарю, ловкий наносит удары так, чтобы железо плакало и визжало, Грачев незаметно для себя оказался в Совете настоящим лоцманом-дипломатом. Нет, не только ронять прямые, короткие удары кувалдой, он быстро научился и всяким тонким штукам: второй секретарь Совета, теперь Николай Павлыч шел в первых.

Он не пропустил ни одного заседания—„железный чорт“,—смеялся Позолотчик: „вопьется в шею, как клещ: то-то фабрикантам горе... Кабы все рабочие были такие!..“

У Грачева оказались такт и умение для самой высокой политики. Он мог объясняться с сильными мира, и бумаги от Совета, которые залпом сочинял Грачев, выходили,—пальчики оближешь. Сам Леонтьев, читая раз требование Совета, умилился ясному слогу и логическим мыслям, которые его, губернатора, подвели к неожиданному выводу, и сказал, обращая внимание Ивана Иваныча: „Вот, подлецы, как чисто бумаги пишут!.. Настоящие Жаки, только логика железная...“

Еще в первые дни Совета Грачев ловко обернул дело и получил от Леонтьева —шутка сказать,—чрезвычайно важный документ с литерами М. В. Д. (читай: Министерство Внутренних

Дел) от 18 мая 1905 г. за № 7—все честь честью. В этом документе собрания Совета уполномоченных гарантировались полной неприкосновенностью и свободой обсуждений. Эта бумага, прекрасно и витиевато составленная на английский манер, в свое время доставила не мало горьких минут мудрому и либеральному Валерию, непонятому Возневанскими отцами города.

Но теперь... Как ясно теперь, что бумажка уже не звучит для ограниченного Сазонова, который вообще плохо разбирается в бумагах и английских обычаях.

И Николаю Павлычу, пожалуй, не сочинить теперь никакого вывода, никакой резолюции.

Неуверенное предложение Грачева: известить власть, что принимаются меры к урегулированию вопроса о стачке; что Совет в последний раз собирается на Талке и приглашает старшего инспектора в посредники с тем, чтобы переговоры в дальнейшем вести по фабрикам...—это предложение как-то не пришлось всем по нутру. А другого предложения не было.

Так и разошлись.

Дунаев и Грачев молча прошли утренними переулками до убогой хатки, имевшей совсем деревенский вид. Проникли в двор. Грачев открыл дверь знакомого сарая и оба тихо, как мыши, влезли на мягкую кучу из остатков прошлогоднего сена и соломы, прикрытую каким-то тряпьем.

— Уснем или нет? Усталось есть, а сна—ни в одном глазу,—сказал Дунаев, швыряя пыльные штилеты.

— Спи. Сам сказал: утро вечера...

И Грачев зевнул. Рассветная колючая прохлада сочилась в щели сарая и ложилась сверху от железной крыши; светлые полоски мягко исчертили сарай, его бревенчатые, гнилые стены; вверху маячила огоньком влажная паутина и в ней шевельнулся мудрый паук.

„Но нет... но нет“...—пропел высоким тенорком задумчиво и будто про себя Дунаев: „В эту ночь... в эту ночь...“ И прибавил басом, усевшись на тряпье: „Возможно ли спать?...“

— Вполне возможно. Спи.—И Грачев повернулся к другу широкою спиною.

— Нет иного предложения,—хорошо,—заговорил быстро Дунаев сам с собой, поджимая ноги и раскачиваясь.—Да как нет... Предложение-то есть, вывод есть, да оружия нет,—вот чего нет... Остричь надо борьбу, стать лицом к лицу. Али уж мы так крови испугались? Талка кипит котлом, а мы что, крышкой ей что ли хотим быть? Коля, ты спишь? Я бы предложил: не сдавать. Встать стеной и баста. Будемдохнуть с голоду, ну, тогда побежим по деревням, обратим Возневан в пустыню, а не сдадим.

— Хорошо,—отозвался неохотно Грачев, не оборачиваясь.— У нас в руках камень. А оттуда что на нас глядит?—Штык и пуля.

— Пуля!—воскликнул Дунаев.—Что зря говорить! Раньше времени пулями себя страшить. Кожеловский трус, а Сазонову мы—захотим—всю Управу по кирпичам разнесем... И этими кирпичами... Что ты, Коля, молчишь?... Разве не разнесем?

— Я думаю, Евлаха, вот какой ты экономист стал!

— Ладно, не смейся. Встал да упал. Лицом в грязь. Только, или я его, или... Ну, что ж, и буду землю грызть... А Сазонова не послушаю...

И Дунаев замолчал. Долго сидел он, ежась и смотря в одну точку, прислушиваясь к ровному храпу Грачева. „Спит bestия“,—подумал наконец,—„развел свои мехи; и здесь мудро поступил...“

Наконец, он вытянулся рядом с Грачевым, прикрыл себя остатками драного одеяла. Если бы заснуть. Пошуршал ногами по соломе, нервно надвинул кепку и, прищурившись, стал внимательно следить, что делает суетливый паук, как бегают он по своим огненным нитям... „Вот злодей, вот злодей!..“—шептал в восхищении Дунаев: „Сколько у тебя прыти... Эх, ты,—смерть мушьяная!“

Грачев проснулся. Бодрая музыка пела, звенела вокруг него и свет большими широкими полосами свободно гулял по сараю. Что это? что это?—подумал Грачев, сел, вынимая сено и соломинки из волос, увидел кучу лохмотьев рядом с собою, пощупал их зачем-то: Дунаев, мил человек, уже утек, пряткий. Утек, и не сказался.

Грачев забежал в хату, где жили свои рабочие—гольши, наскоро умылся, глотнул чаю. Хата была полна женок.

— Ну-ка, хозяйка,—пошутил Грачев:—налей мне китайского чаю с утесом.

Утесом звали пеклеванный хлеб.

Старая ткачиха с широким крестьянским лицом, изрытым оспой, прогудела ему:

— Нету утесу, и черный хорош будет. Ешь доваля, и крошки в рот. Добастовались что и горькой корки нет.

— Ворчишь, хозяйка!—улыбнулся Грачев.— Ворчишь, милая? Ты его кляни, и ему ворчи. Того, что над тобой в кресле сидит. А мне чаю налей.

— Ну, пей, Миколай Павлыч,—придвинула ему стакан и две синих ландринки молодая застенчивая женка.

Посредине хатки, почти упираясь в потолок, стояла высокая Марья Федоровна Наговицына. Она строгим голосом, не терпевшим возражений, торсила женок:

— Пейте, пейте, женки. Не рассусоливайте, будет чай гонять, дело ждет. Идем на Талку.. Наши все сдвинулись, ишь, улицей топают!.. Ну, пейте скорей, нижегородские водохлебы..

— А как же, Труба, Сазонов, говорят, настрого запретил: больше, чем одному, не собираться?—хитро спросил Грачев, обжигая о стакан пальцы.

— Ну, мы его не спросимся, мы прошли теперь все сита и решета, и никто не смеет нас задерживать,—яростно ответила Марья Федоровна.—Теперь мы в сознании. Теперь, пока что, времена апостольские наступили, а там пусть Молох капитала опять нас жмет; теперь мы свое возьмем. Идемте!

Марья Федоровна, прозванная Трубою, вышла, согнувшись, в низкую дверь и за ней, как за предводителем, одобрительно вскрикивая, повалили женки.

— Беги и ты за ними, холодный скубент, беги, Микола, а то, большак, от своих сподручных отстанешь,—сказала сердито хозяйка.

Грачев выпил еще стакан, похлопал старуху по плечу и вышел на улицы Возневанска.

Там и тут ходко шли рабочие группами, оживленно болтая. Грачев встретил Сикавина, они замешались в группу молодых парней и пошли посреди улицы.

— Читали, Иван Никитич?—подскочил один к Сикавину и крепко в воздух выругался.—Ввиду, говорит, ежедневно доходящих до меня слухов от самих же рабочих, а?... А не брешет, сукино трепло, по заборам расклеив, будто среди нас подлых подметок много? Это каки-таки сведения от самих же?

— А что же ты думаешь, мало языков среди нас!.. Да к тому же и у них, так сказать, свой особый наблюдательный состав,—сказала молодая глазастая девица.

Из переулка подсыпалась другая большая группа рабочих, не сливаясь. Начались перекликивания:

— Эй, зубковские, это про вас написано?

— Что?

— А то! Иван Никитич, объясни им, чертям. Не читали разве? Будто вы, зубковские, занимаетесь вопросами государственного значения.

— О!

— Вот тебе и о! Тюху от матюхи отличить не можешь, а в правительству лезешь!

— Ну, ты полегче. Мы зубковские..

— То-то, зубковские! Сам вица тебя предупреждает, а ты все прешь... Заладил одно,—на Талку!

— Братцы, а какая тому будет законная ответственность? Год ли закатают, два ли?..

— Почешешь спину, узнаешь... Нынче, брат, не по разрешению идешь, а как сказано,—вопреки!

— Что, что—вопреки! Гляди, тысячи идут. На все спины и кнута не хватит.

— А нам плевать: вопреки или как. Мы теперь сами себе начальство.

Валила новая густая толпа, в которой много колыхалось женских платков. Они шли прямо по пыли, как крестным ходом, подымая ногами серые клубы.

Телега скорби.

Позднее стало известно: солдаты 3-го июня целили „по ногам“, согласно полученному приказу. Но шальные пули летели не совсем точно, как приказало начальство. Впрочем, об убитых в последующих донесениях неизменно говорилось, что они пострадали от своих же рабочих, от неумения якобы тех правильно метить.

Как всегда в таких случаях, количество убитых не было точно оглашено населению, цифра была скрыта; количество раненых тем более трудно было определить, так как большинство из них убежало или уползло с места побоища, одиноко скрывалось в лесу и потом лечилось дома, не желая заглядывать в городскую больницу.

Тихон Капитонов умер на насыпи, от потери крови и общего истощения. Умирая и глядя в голубое небо, которого старик все же не видел, он долго как будто отмахивался одною рукою и шарил ею по песку, разыскивая какой-то зонтик; и призрак навалившейся на него дочери, долго томил и мучил его, пока, наконец, он не скинул его со своей старческой груди. Тогда вздохнул легко и вытянул ноги..

Талка даже и после того, как отряд драгун увел в тюрьму арестованных, была еще оцеплена разнообразными войсками.

Поиски спрятавшихся по зарасшим канавам, густому кустарнику и лесу, глубь которого была бескрайна, азартно продолжались до позднего вечера, а валявшиеся кое-где раненые, забытые или не обнаруженные, не очень занимали Кожеловского и его сподвижников.

Когда в самом сердце рабочего городка, на Ямах, поднялся, заволакивая небо, густой черный столб дыма, и столб дыма в другой стороне и разные противоречивые вести о размерах пожара доползли до Талки, утомленное необычным днем, войско Кожеловского дрогнуло и в разных частях его как первые трещины при развале дома, появилось стремление уйти с выигранного пустого поля сражения, где журчала лишь Талка и кое-где слышались одинокие стоны.. Нервировали также к концу дня неожиданные бесшабашные выстрелы, гукавшие то там, то тут, причем трудно было определить, кто стреляет,—свои или мстительный „внутренний враг“, который быть может близко крадетсЯ и вот, вот..

Дошли вести и о разгроме в городе лавок, причем казаков очень потянуло туда, к пышным местам народного разгула, для „водворения порядка“. Часть конных, наконец, была отозвана с Талки Сазоновым и некоторая часть, как выяснилось после, под видом преследования убегающих в лесу, распыхилась самовольно. Во всяком случае в тот тревожный вечер в городе можно было наблюдать картины погрома подзрительными людьми лавок—винных или бакалейных—под

Несмотря на удушье и мало бодрящее кольцо войск, хозяином площади чувствовал себя маленький и звонкий ткач Монеткин. Вот он раздобыл где-то большой ящик и водрузил его в центре площади, суетился и давал женкам указания, вот он протиснулся вперед и внимательно осмотрел самодовольного Саваренского, похожего в своем боевом виде на сбитеньщика, злая шутка змеилась на подвижном лице Монеткина, но наш маленький ткач сдержался, он только сдвинул и невежливо попросил у городского закурить; а вот неутомимый и любопытный как уличный мальчишка Монеткин отодвинулся вглубь, проскользнул ближе к улице: там стояли распаренные солдаты, отирая грязный пот, катившийся из-под фуражек, они переминались на одном месте, сучая.

— Здорово, казенные человеки!— подошел Монеткин ближе к асфальту и сдвинул набекрень свою фуражку. Солдаты засмеялись.

— Здравствуй, здравствуй, храбрый заяц! Смотри, не смигни...

— Что ж нам мигать, товарищи! Мы который раз просим губернатора—так и так, заставь фабрикантов уступить, а он все одно: „я этого не могу...“

— А вот он вас сгонит нагайками с этого места, чтоб по домам шли...

— Что ж мы—бродячие собаки, чтоб нас гнать? нешто вы штыком только хозяйский кошель охраняете, а не нас, голодных?..

— А то!—захохотали солдаты.—Держи, держи дистанцию... не напирай!..

— Для купца все можно,—для нас ничего. Не напирай. Эх, за светлые пуговицы нешто вы можете предать рабочего человека? Да разве не такие ж нищие бабы порожали вас на горе и нужду?—горячился Монеткин, окруженный угрюмыми рабочими.

— Но, ты.. заткнись!—крикнул остервенело взводный.— Отойди, хайло!.. А то мы тебе.. так... что и язык свой за порог оставишь..

Монеткин, не унывая, юркнул в толпу, вот вновь показался, он около желтых казаков. Он даже смело похлопал коня по шее и пропел:

Куропаткин горделиво
Прямо к Токию спешил.
Что ты ржешь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустил?..

Несмотря на обилие всяких осведомителей у начальства, повидимому, секрет боевой дружины не был раскрыт. Всем дружинникам решено было незаметно затесаться в толпу gazeющих обывателей и разместиться сзади казаков. Если бы

те стали применять нагайки, боевики, по знаку Станко, дали бы залп казакам в спину.

Наконец, первый условленный знак был получен, знак оттуда, из-за кольца казаков: это означало — дружинники на своих местах.

Теперь, встав на ящик, Сикавин подал свой знак, и вся толпа, как по команде, молча опустилась, рухнула на мостовую, некоторые сели на колених, большинство, как дети, которые усаживаются на лужайке; иные совсем залегли, навалившись друг на друга.

Странно: не боевая и очень простая картина огромной измученной и голодной толпы, усевшейся спокойно у ног казачьих лошадей, против белого дома Управы, произвела на войска потрясающее впечатление; будто град Китеж опустился в воду и стал невидим, звоном своих колоколов посылая вечный укор поработителям. Солдаты, сжимая винтовки, испуганно смотрели, как замороженные. иные шептали: „что деется, что деется“! У одного неудержимо по пыльному лицу потекли слезы; он конфузливо отвернулся, утирая рукавом нос. Даже Саваренский в недоумении привстал на цыпочки и повторял:

— Что это? Они встали на колени? Они встали на колени?

Волнообразные, похожие на стон, крики огласили площадь; как прибой разбивались они на мелкие брызги, катились обратно и вновь зарождались в глубине толпы:

— Хлеба давай! работы давай!.. Дава-а-ай!

— Хлеба! хлеба!

— Работы!..

Из толпы взметнуло, выплеснуло высокого седого рабочего, он посмотрел, дико вращая глазами в окна Управы, разорвал на груди рубаху и закричал, потрясая сединой:

— Свинца! свинца!.. Что ж, давай свинца, давай!.. Вот давай, коли так, свинца!..

И рухнул:

— Не надо свинца, не надо!.. — кричали неистово женщины:—хлеба давай! Давай работы! Хлеба!..

Дунаев очутился на ящике незаметно, все такой же острый и порывистый, он крикнул на толпу, как будто был раздражен и удивлен ее поведением:

— Кто? кто вас сюда привел? Кто?

— Сами пришли,—ответили женки.—Сами пришли!..—поддержали вдали.

— Сами!—глухо всплеснуло среди рабочих.—Пришли вот, ох, пришли!..—охнуло где-то около рядов.

— Зачем? зачем сами пришли?—ринулся в другую сторону Дунаев, захлебываясь общей болью, он был, как подставка на туго натянутой скрипке; вот вот, — и упадет и с треском сломается на части.

— Хлеба требовать, работы, работы! — закричала толпа, любуясь неистовой одушевленностью Дунаева. — Дава-ай! дава-ай!! Смерть наша: да-ва-ай!..

— А разве вы не можете дальше вести себя спокойно? Не можете? Разве вам не сидится по пустым вонючим спальням или самим с собой на Талке? Разве вы не привыкли к крику ваших голодных детей? а?.. И галчата пищат, требуя пищи, а вы что? Иль вам в диковину детский плач? Что ж вы?.. Что ж вы поднялись опять, беспокоите начальство? Разве вы не можете подождать, когда хозяева там в Москве, в своих палатах, почешутся подумать о вас?.. Не можете, а?..

— Не можем! не можем! нет сил! не можем! нет!..—гудело вокруг... Нет, Евлаха!.. Сил не хватает!

Дунаев поднял обе руки, и все стихло.

— Товарищи! Что ж мы? Коли сил не хватает, может быть, на старых условиях станем за каторжные станки? Может так, голову низко опустим и пойдем?.. Повинную ведь и меч не сечет... Пойдем что ли?

— Не пойдем, не пойдем!..—ухнула и взревела площадь, как будто сияясь подняться на ноги. — Уступки давай! уступки!.. Не трави: не пойдем! у-у-у!..

— Ваше превосходительство!—повернулся Дунаев к окнам Управы:—Вы слышите, наконец, как народ бунтует от сытой жизни? Зазнается, ваше превосходительство, не хочет быть на каторге, хочет лучшей жизни, а? А что же власть на то скажет? Как же так? Справедливы наши требования или нет? Иль уж мы так вознеслись, что с нами и разговора нет? Дождем ли нам крепиться? Ваше превосходительство, уж вы пока что смотрите сами. Можем ли мы более сдерживать народ?.. Тоже ведь и наших сил не хватит. Смотрите сами!.. Мир или война?..

И Дунаев в иступлении помахал кулаком.

— Идет!—крикнули где-то.—Идет, сам идет...—повторили близко.—Гляди, гляди! Лево-о-онтьев!..

Пробраться к трибуне на этот раз было не легко, люди неохотно вставали с насиженных мест, предоставляя тучному Саваренскому, который шел впереди губернатора и Жака, шагать через ноги, обходить туда и сюда, выискивая среди тел возможные тропинки. Мертвая тишина воцарилась на площади и даже слышно было, как изгибающийся Жак почтительно заманивал власть в глубину толпы:

— Сюда, ваше превосходительство, сюда... Вот сюда пожалуйте.

Задержка в движении к трибуне отвлекла губернатора от смутного чувства тревоги и ненужности его последнего парадного выхода, его участия в этой нелепой народной сцене из какой-то еще не написанной оперы, где народ тупо сидит и даже невежливо лежит, а власть должна стоять, вытянувшись

в линейку. Леонтьев, пробираясь в тесной толпе, невольно прикасаясь к растрепанным волосам женщин, распаренным горячим спинам, наступив кому-то нечаянно на ногу, пришел в раздражение, особенно он пришел в раздражение, остановившись испуганно перед фуражкой, лежавшей одиноко на маленьком пустом пространстве.

„Фу, глупо!..—подумал он и отер пот со лба белым платком. А вот и спасительный ящик! Он заговорил нервно и быстро, почему-то обращаясь вдаль, к казакам, а не к толпе, притихшей у его ног:

— Власть, вы говорите — власть, но что может сделать власть? Братцы! Хозяева не идут на уступки. А что же—это моя губернаторская вина, что они не идут на уступки? Я хозяин губернии, но не хозяин фабрик. Я могу вам разрешить собираться, а не могу взять средств из своего кармана, чтобы удовлетворить вас! У них есть законное право, соглашаться платить вам, сколько вы запрашивали.. запрашиваете!—сердито повторил он.—И не соглашаться. Вы не идете, и они не идут. Вы запросили много, слишком много, им выгодней закрыть дело, чем терпеть убытки.

— А ты повлиять, повлиять! — крикнул под ногами где-то безнадежный бас.—Повлиять!..—подхватила толпа.

— И повлияю!—воскликнул Леонтьев, еще более раздражаясь и ища глазами, где же тот бас. „Вот он“, — подумал он, увидя седого с растерзанной рубахой.—И повлияю! — повторил он, обращаясь к возбужденному старику, стоявшему на коленях. —Я сделаю все зависящее.. Но я не бог. Уверю вас, я приложу усилия.. Мир или война, говорят ваши вожаки. Я же тысячу раз вам повторяю: мир, мир, мир!.. И никогда не устану повторять: мир!.. Но...—губернатор прижал обе руки к сердцу и замолчал. Толпа насторожилась, ожидая — в чем же заключается это „но“. Она даже вздохнула вместе с губернатором. И вдруг лицо Леонтьева исказилось, тихий мир испарился из его глаз и он закричал тоном команды:—А теперь предлагаю вам немедленно разойтись. Жак! попросите их освободить мне путь... Нельзя же так...

Да, видно было, что и губернатор дошел до точки.

„До свидания“, — бормотал он сердито, делая странные движения руками и шагая в беспорядочных кучках людей, неловко встававших, поворачивавшихся к нему, что-то на разные голоса говоривших ему вслед.

— Повлияю! повлияю! — бросил он дикому старику, вынужденный опереться на его острое плечо, образ впалой желтой груди, груди покойника, и грязной, потной рубахи, висевшей клочьями, после весь день преследовал Валерия Аполлоновича...

Толпа загудела и, будто просыпаясь, двинулась на Шереметьевскую улицу, судорожными движениями, вал за валом,

выкидывалась она площадью, волнуя своим хаосом казачьих лошадей: те кланялись и кланялись ей в спины, как будто знали, что нового свидания надо ждать по крайней мере в октябре. Вот на повороте покраснело огненное знамя, оно приветливо плеснулось над головами, сбившимися в одну громаду, и там же возникла неуверенная песня. Но вот громче, ближе, дружнее — „лубинушка“ неуклюже ухнула тысячами глоток, и вздыхающий зверинный рев толпы, казалось, заколебал гладкие раскаленные стены; закачались, запрыгали сытые, белые дома, откидывая в зной и пыль:

Взглянем вдруг—
да ух!
Вон не шел, пошел—
Эх, пошел, пошел—
Да ух...—нем!..

П. Нечваленко.

НА СУДЕ.

Свидетельница.

...Дык я иду (я, значит, теща)
К дочурке (замужем, ей-ей),
Иду я к ней.. Тут, значит, рошя,
А тут кустарник полевей.
Иду и, значит, ненароком
Я в рошю—посмотреть грибов.
Гляжу: грибов-то скоко,
Иду и вижу, значит, ров.
А там, такая ужась!—Право!
Во рву-то этот самый труп,

Весь почернел, как от отравы,
Волосья этак по ветру,
Язык из рота вылез. Прямо,
Гляжу, по языку ползет
Чернуший жук и, словно в яму,
Он с языка скатился в рот.
Я как вскричу!.. Да все чашой
Бегом, упала, да еще...

Подсудимый.

Я ничево. Вот перед богом
Да я... Да што вы на меня?..
Граждане, ну пошто так строго,
Каб я убиа, а то вить я..
Вить я ништо ..
Я сознаюсь, но, гражданин,
Но, как же... посуды обратно,
Пошто же я плачусь один?..
И будет, будет!.. Начистую
Я все.. была уж не была..
Григорий Митрич-то Вестугин.—
Вить он ви новник всего зла.
Вить он! А я.. Мы по соседству..

Он научил... Вот дело как.
Я батраком-то с измаелства,
А он—богач, аль как—кулак.
И сын-то мой всегда батрачил,
А тут эта, ушел служить.
Григорий Митрич тут и начал,
Сначала: как извольте жить?
А дочь ево—такая краля!
За сына обещал отдать..
Всю совесть у меня украли,
Украли.. Растакую мать..
Простите, да, простите.. Што же,
Я, значит, так и порешил:
Пусть сын живет, коль я не познал;

Для сына я от всей души.
Всю жизнь я голодал, батрачил,
Так сын-то пусть хоть поживет.
Григорий Митрич на придачу
Еще давал и дом, и скот.
За все, за это... вам известно,
Убил тово большевика...
Для сына я!.. Вить я был честным,
Без злобы поднялась рука.
Убил... Теперь вот жилы стынут.
Убил... Вот я—со всей душой;
Не для себя я, а для сына...
И жить я там не мог—ушел:
И здесь на фабрике работал...
В деревню-то к жене ходил..
Григорий Митрич снова што-то;
(вот видите, я не один).
Для сына, чу, отдаст ветрянку...
Што б только я... Эх, вот тоска!
И стал ходить я спозаранка
На фабрику-то до гудка.
Ходил и часто за прессами...
Вот сердце рвется от тоски...
Ножом кромсал и рвал руками
Я ситца целые куски...
Не думал я, грязна, чиста ли
Такая вещь... Я што слепой,
Прожил всю жись, меня все звали
И лодырем и гольтепой.
Смеялись надо мной с охотой,
И горько было в ту пору,
Досадно было; я работал,
Как мог, не покладая рук.

Всегда работал. Так за что же
Смеялись, как над дураком?
А тут обрадовался—дожил:
Сын женится—получит дом,
Ветрянку, скот, и мы покажем,
Покажем, што ни говори!
Я только сына ждал, когда же
Мне думать было, што творил...
Как сын вернулся—я скорее
К нему—обрадовать лечу,
А он: „Я с этим богатеем
Роднятся, тятя, не хочу!..“
И с комсомольцами он начал
В деревне зачинать колхоз...
Так для чего я стал палач-от!
Обидно стало мне до слез.
И я не мог.. Я сыну смело
И про убийство и про то—
И про фабришное-то дело
Все рассказал, уж мне ништо
Григорий Митрич... я ни слова
Об нем (такой уж уговор).
Мой сын-то стал презлее злова,
Кричал, что, мол, теперь позор!
Он ночь не спал, и на полатях
Я тоже не смыкал глаза,
А утром он сказал: „Я, тятя,
Все докажу..“ И доказал.
И про убийство, и про ситцы...
Григорий Митрич... Эх!.. А сын...
Я вот должен теперь судиться...
Пошто один?!..

А. Сумароков.

Б У Д Н И.

Осенний свет струится по заборам,
По матовому золоту досок.
Иду в туман, на мостик, за которым
Пересыпается сухой песок.
Здесь так свежо. Здесь в блеклые
Звонит заледенелая вода [лазури
И шлет свои стремительные бури
В лежащие нас ниже города.
Здесь тропы всех мучительных
наследий
И прошлого сбежались рубежи:
Набатный пламень озверелой меди,
За голенищем оетрые ножи.
Здесь по ночам чугунным вощ нас
По вечерам доили комары, [ела,

И вот теперь мы принялись за дело,
За острые, как пламя, топоры.
Не кукаться и плакаться, а строить,
Смотря кругом на слякотную стыль:
Непоправимо дорого нам стоит
Не в очередь вколоченный костыль.
Мы плавимся здесь в горне перекалки,
Упорно поднося кирпич к стене,
Кладем в нее грохочущие балки
На вычисленной строго вышине.
И если ты стране поэтом ценен,
Над творческими буднями корпи,
Залей слова бунтующие в цемент
И строки, как стропила, укрепи!

ДИРЕКТОР ТРЕСТА У ТЕЛЕФОНА.

(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ).

Алло!	хлопок Туркмении?	Дали	(вопиющее безобразие!)
	кип?	Простой на меланжевый комбинат.	...по оптимальному
На линии? да?	в пакгаузах?		варианту
— С телефона	—нервный дерг руки	—памятен пункт под литером „Ц“—	Увеличиваем на...
На дорогие показатели завоза	И снова пальцы	Но аппарат	тарантул
	—на телефон!	Пожирает наше	снижение цен!
6—02?	товарная станция?	...эшелон тканей застрял в Воронеже	...и примет все
.....Вы нам не отгрузили	триста тонн!	Предлагаю	официальный оборот..
Зарезан,	товарищ Акопянц, я!	выполнить!	иначе сегодня же
Когда минимальный промфинплан	Намечает повышение	Ставлю вопрос	в партбюро!
	на десять процентов,	Пока на виске индиговели вены	И прыгала бровь
Вы...—и металлом	тугим мембран		—Акопянц упрям—
Передано	негодование центра.	Куранты напомнили вдохновенно:	Цинны! цытинны!
Вы, Акопянц, начальник в базе!	А в прошлом квартале	грам!	граммы!
	(чья вина?)		

НА ПОСТУ.

Тревоги звонок	К седым корпусам	Директора нет
Острее в ночи,	Подходит вода...	На берегу ..
Когда все черно,	Хлопок спастись!	Печаль поутру,
Когда все молчит.	Срочно! туда!	А утро молчит
И злобную темь	И схватка в ночи	Товарища труп
Пытают посты.	На берегу...	Искали ткачи.
И преданным тем	Хлопок ткачи	Под тенью бровей
Глазам не остыть!	Уберегут!	Суровый укор...
Взрывает пикет	Пусть штормы идут,	...Немного правей
Директора сон,	В горячке раздет,	Он взорвал затор!
Когда на реке	Директор на льду.	Попрежнему темь
Тоскующий звон.	Директор в воде!	Пытают посты
Алло! Ледоход!	А выпал рассвет	И преданным тем
Заторов гора,	--Я боль берегу—	Глазам не остыть.
Подрывники лед		
Не могут взорвать.		

РАЗГОВОР В ДОРОГЕ.

(ИЗ ПОЭМЫ „КАРТОФЕЛЬ“).

Бугрится глина, скрипят воза,
Мешки на дорогах и голоса:
Сторона наша страдная—картофель
да гать—
Тяжелые дороги—трудно шагать.

Пока не подморозит,— и не пройдешь
Встречают вода да ветра галдеж.
Утонешь в хляби, утопишь воза...
Мешки на дорогах и голоса.

Был на пункте дан приказ,—
Самим возить—дорога дорогая,
Пускай заготовщики объедут округа,
Деньги у них, им и рука!

Ждем неделю, месяц, другой.
Проходят сроки—товарищ дорогой!
Дело выходит, собачий хвост,—
Картофель мерзнет, а у нас колхоз!?

Ну, взялись парни все как один,
Мужики на голос:—„Коней не дадим!
Коней охромил—всем каюк.
Бейся, не бейся—не дают!

На ночь стали брать на запор
Каждые ворота. Бредят во сне,
Что парни ночью сломают забор
И через стены сведут коней.

И верно, свели. На третью ночь
Прямо с гулянки Насыпали мешки
Да в ветер, за деревню, как дым
в окно
Встречайте ударную, бугристые пески.

Мы тихо едем, скрипят воза,
Мешки на дорогах и голоса:
Сторона наша—страдная: картофель
да гать,
Тяжелые дороги—трудно шагать.

Иваново-Вознесенск.

А. Косульников.

О ДЕВУШКЕ С КЛЮЧАМИ.

Вел мотор беседу со станками,
Затопили корпус солнышка лучи.
Я смотрел:
Как нежными руками
Ты взялась впервые за ключи.
С непривычки—
Ключ срывался с гаек,
И тебе казалось—это нипочем...
Я подумал: шутишь, дорогая,
Не тебе бороться со станком.

А потом была ты не в покое,
Когда мысли с полотном слились,
И другим забилось сердце молодое
В суетливом трепете ремиз.

Распыхалась сила боевая,
Разгорелся трудовой твой день,
И тебя, крутясь и извиваясь,
Горячо приветствовал ремень.

Любовался я:
Станок жевал основу,
Выбивались нитки вперерез;
За тебя, за твой путь к жизни новой
Яд сомнений у меня исчез.

И идет жизнь дальше, ход ее упорен,
Неизменно ярки солнышка лучи,
Сам я неизменен и тебе покорен,
Как тебе покорны у станка ключи.

Иваново-Вознесенск.

С Т О Р О Ж.

РАССКАЗ.

I.

Две недели кричала газета „железными шапками“:—Страна нуждается в металле для тяжелой индустрии!.. Очистим город от железного лома!.. Старое переплавим на новое!.. Комсомол, приготовься к двухнедельнику по сбору металла!..

А потом, как обычно, вспрянула на трибуну жизни новая ораторша-задача, увлекла газету, умы, силы, — и железный лом, по природе своей тяжелый и тусклый, легко забыли. Ширококостые, неторопливые ломовики из татарской артели „Свой труд“ перевезли железо со склада на набережную, ближе к отправке, и занесло его снегом. Ровная, по зимнему пустая набережная взгорбилась в этом месте. Ребятишки из соседнего дома мукомолов обмяли горбушину, и получился великолепный, головокружительный каток вниз, в студеную впадину Волги...

Но вот дни потянулись медленнее, а люди оживлялись, быстреи. Остеклились лыжницы на Волге и зазяли квадратные майны от вырубленного на лето льда... Снег на набережной, темнея, переминался в кашу, а вдали так посветлел, что глаза щурились от его блеска. Лесные барьеры Нагорья посинели, встряхнулись и выстроились, как древняя рать — в поход. В эти обманчивые дни солнце издевательски пряталось, кружило за густыми, прелыми облаками. Думалось, что оно попрежнему низкое, красное от бессильной натуги и доступное глазам. Но прилетел теплый ветер, разорвал облака и—о, радость! Солнце высоко сияет победно, как молодой спортсмен, говорящий без слов: „Видели, какую я штуку разыграл?“

Весна... Она перемахнула лесные барьеры, проскочила льдодышащую Волгу и присела в городе, на обрезах крыш, карнизах, подоконниках, на юру набережной—крыши, карнизы, подоконники тронулись теплой плавью. И отсюда трогается наш рассказ о железе и людях...

В апреле, когда снег с железа сбежал в закраину Волги,—не потому ли она так помутнела?—газета опасно крикнула: „Железный лом расхищается обывателями!“ И достаточно: через два дня у железа появился сторож, снятый с биржи труда гражданин Мокряков. Он поседел на бирже, ибо его секция продавцов старого железа (он значился в ней первым и последним номером) была забыта даже учетчиком биржи.

И когда пришло требование на сторожа к железному лому Мокрякова вспомнили и вызвали повесткой.

— Мокряков,—хмуро сказал учетчик, принимая повестку.— Закопались тут и молчите...

— Как-с?—оглушенный затолканный молодым многолюдьем биржи, Мокряков щекой присунулся к учетчику.

— Ваша секция неосуществимый балласт,—сказал учетчик и толкнул ящик с картошкой...—Есть требование на сторожа к железному лому, но продавцов не предвидится окончательно. Или заступайте в сторожа, или же я снимаю вас с учета.

Мокряков с радостью принял работу. Рудметаллторг, нанявший Мокрякова, выкроил из суток 8 часов, наиболее удачливых для обывателей и опасных для железа, и уложил их в инструкцию для сторожа. В наплыве чувств Мокряков сказал начальству, что человек он старого закала и будет стеречь железо не по часам, а по делу, так он поступал полжизни, когда имел свою...

Тут Мокряков закашлялся, обнимая сухенькой, в бичевках склерозных жил, ладонью свою растительность, похожую на обломки ржавых велосипедных спиц, и мысленно возблагодарил бога за то, что начальство не уцепилось, не спросило:—А что вы, гражданин Мокряков, имели в основе житейского закала?..

Весна летела на крыльях грачей, жаворонков, чаек, журавлиных стад. Солнце палило уже не взаглядку, не с подсечкой, а в лоб. С ревом торжества катились в Волгу уличные потоки. „Семь месяцев валяться у помоек, терпеть ноги, сани, кодеса и вонь авто... довольно! Вперед!“ И вздымалось, пучилась, шипела желтеющая Волга, как всхожая опара на печке.

Сияючи и емки стали объятия горизонта. Прозрачно-фиолетовые кроны берез на дальнем берегу, в один солнечный, простроченный быстрым и теплым дождиком день, тронулись нежной зеленцой, и такой приметной на рыжем скате кручи в обсосках снега, будто художник размахнулся на широкий этюд,—мазнул тем, другим, да и отступил к городу взглянуть, что вышло... В этот день закраина городского берега стала так широка, а зимняк на Волге так черен, что стало страшно за одинокого, неспоро шагающего зимняком человека... Вот он остановился, смотрит на город, в закраину и видно ему в ней, как в зеркале, дома в щетине радио-мачт, пятиэтажная, кирпично-пыльная мельница с ворохом голубей на крыше, а на круче набережной, на юру—груда железного лома с фанерной будочкой сторожа.

Мокряков поселился у железа и был доволен. Он принес сюда свою тугую сгорбленность и присущую всем сторожам малоподвижность, хмурь за очками в медно-зелендой оправе, кожаную, ободраную, без единого блеска—как замшевую—

куртку и черную шестигранку с пуговкой, пришитой ребром. Он принес к железу тепло и несложный уют человека, обязанного делом, а дела людские обвевают теплом, значимостью даже ржавый железный лом. В будочке поверх матраца лежал новый дождевик, а на столике—хлеб, солонка, кружка, жестянка с сахаром, курево и синий эмалированный чайник размером для одинокого, замкнутого холостяка. На стенке морщился номер газеты, определивший судьбу Мокрякова, а в углу тускнела медная иконка, похожая на старинное газетное клише... Мокряков жил.

II.

Груда железного лома, рядом с правильными, устоявшимися линиями набережной, имела вид катастрофический и ассортимент неопиcуемый. Сотни лет копилась она, неприметная и лишняя, как все сработавшееся, изжитое, утратившее свой, с основания отмеренный полезный срок. (И если люди не выбрасывали железный хлам, то и не хранили его. Так сильная, эгоистическая молодость относится к старости).

Костыли и скрепы с разбитых барж и исчезнувших строений, боковины сгоревших фабричных котлов, лопнувшие рельсы, выщербленные топоры, битые сковороды, неудачное литье с завода „Феникс“, открытого в керенщину, решетки церковных окон, обломок креста с неизвестной могилы... и снова сковороды, вьюшки, паровые трубы, сошники, мороженицы, свернутые гайки, кривые болты, пуды, фунты... Они, по силам своим, вдавились в тугой берег, угнездились, готовые лежать еще века. Нежная травка, пробиваясь по обрезу груды, подчеркивала тяжелый, ржавый сон железа.

А вокруг, со всех сторон была жизнь. Волга сплеснув в низы ледяное крошево, мощной стремниной неслась по приметному, сияющему скату туда, к морю... Огромная, будто накрашенная заря краем стыда в разливе и огибала небо к востоку, чтоб разгореться вновь. Волга пересыпала на своем чреве цветные вороха лодок, гудела и хлопала моторами и звонко, раскатисто отдавала песни все о том же, самом дорогом для людей—об удали, силе, любви...

Волга дышала на берег великой весенней уборкой, чисткой больших пространств. То пахло древесиной, поднятой со дна и с рыбьими ныряньями плившей по стрежню... То гнилью, тленьем, торфом наносило от мусора, смывтого разливом с лугов, озерных приплесков и болот... То веторок, облизав свежую краску и смоль судового каравана, сыто и дружелюбно подносил людям, вместе с запахами, память о сосновык лесах и полях в конопле, о просторах и крутой пшенной каше... То вдруг машинами, котельной жарой и потом кочегаров ударяла в ноздри нефтяная гарь пароходов, приставших к городу на отдых...

Люди приходили к Волге подышать чистойшей и будто живой ее прохладой, шли по берегу с заложенными за спину руками, или, застыв на круче, до боли в глазах смотрели на воду, на какую-нибудь черновинку, и плыли с ней в далекий путь. Люди покидали сварливую тесноту жилищ и несли в тихий вечер всяк свое. Люди зябли от Волги еще холодной, как сливыши из кадки мороженника, наживали лихорадку на губы, но как уйти?.. Песни, огни бакенов и каравана, свистки и густые, приблизившиеся с разливом березы другого берега, мириады толкущейся мошкары, хроматические лягушачьи концерты—все плавилось весенней силой, несло зародыши, зачатия, новь!

И только Мокряков не видел, не ощущал весны. Старое железо, однажды вцепившись в Мокрякова, держит его жизнь. Оно в свой цвет окрасило его лицо и руки, в свой звук настроило его голос, в свой склад сложило его характер. Люди, видевшие его у железа, не представляли, что был этот человек молод, волновался, любил... А подходили к железу многие. Оно магнитно тянуло к себе людей. Редкие не задерживались у груди—чванные только, гуляющие напоказ. А прочие, кто бы ни были, забирала к груди и приростали к ней глазами. Энергия веков, порывы и думы ушедших поколений остались в железе на память живущим. Но потому ли, что тяжесть воспринималось это наследство, или ошеломляющая неизвестность множества изжитых вещей укоряла людей малостью их познаний,—люди скупно говорили о железе и, пощупав что-либо из мелочи, нетерпеливо искали, чем бы вытереть руки от ржавчины.

— ...Какую массу собрали, и это в одном городе!

— ...Сейчас я вам скажу: выйдет из этого барахла новый буксирный пароход, или нефтянка-сороковуша. Не плохо?

— ...Скостите на ржавчину. на угар, на усталость—и останется одно лишь беспокойство.

— ...Говорю: гражданка. все равно вы на худой сковороде не пекете—пожертвуйте. Ни в какую!.. Я. говорит, ее склею. А чего, по всем видам контрики!

— ...Смотрите, какой чудесный узор вылился в чугуне. Как вы говорите,—сплески литья?.. Чугунные цветы. Запечатальный индустриальный образ!..

Вечерами Мокряков нервничал и терялся. Странное отношение вызывали в нем люди, обозревающие железо. Он как застарелый больной, то тяготился окружающими и, чувствуя себя выставленным напоказ, забивался в будку. То рвался к людям: будка давила его темнотой и удушьем, к тому же, сторож должен быть на виду. Он подбирал из-под ног железную мелочь и демонстративно кидал ее наверх груди. Он гнал мальчишек, которым нравилось делать по тихой воде „блинки“ шайбами из разбитой связки.

— Который раз я вам говорю, а-а?! Что рыло скривил? Дурак большой, брюки наутюжил, небось, об девках думаешь, а... это самое... Не брюки, а шею надо тебе наутюжить, да как следует!

Подросток пучил глаза и ломающимся баском грозил:

— Испробуй, так будка твоя завтра же поплывет!

— Какое хулиганство!—сочувствовали Мокрякову зрители и давали обычный, посторонний совет:—А вы отправьте парочку в милицию, там внушат...

Мокряков горько отмахивался.

— Какая там милиция,—отцов не бояться! Он и отца ладит в милицию стащить: не учи, не наказывай. Он все законы знает насчет битья. Поди-ка!.. В училищах их нынче только тому и учат.

Но пуще мальчишек не любил Мокряков встречать старых знакомых. Он вяло отвечал им на поклоны и спешил уйти. Он не выносил их сожалеющего шептания. Изголодавшийся по работе, он был прилежен и возвышал в себе эту прилежность. Всякая побочная мысль мешала новому восприятию жизни. Он обжился на набережной и почти забыл городскую свою коморку в доме лодочника, арендующего подсобный перевоз.

Дни Мокрякова установились, как вещи в будке,—скупо, с назначением,—и странно укоротились его пути. Прежде ходил он к племяннику,—слесарю моторно-сборочной мастерской и на толчок, где в развале всласть глядел и щупал всякий металлический хлам. Но теперь страсть к железу удачно сочеталась с делом, и остались Мокрякову пути обыденные: в кооператив за хлебом, в съестные ларьки к пристаням, за колбасными обрезками и махоркой, и на мельницу за кипятком. Мокряков вместе с железом, сторожил и всю жизнь, как проходила она мимо будки, но лишь с точки зрения относительной пользы и самозащиты. Кроме кошечка к железу, он прорезал в будке другое—на улицу, чтобы устеречь опоздавшую на базар молочницу, или мужика, украдкой, беспатентно продающего рыбу, ворочающуюся в мешке—и купить по дешевке. Полдненную солнечную плавь, когда все нежится, блестит, ткется и зыблется маревом, он называл незначущим словом „тепло“, и беспокоился, что в затхлои будке свернется молоко и испортится пара молочно-икряных подлещиков...

Днем прибегали на берег школьники с сачками и банками, карабкались по крутой, убегающей в мутную глубь Волги набережной, и вдруг победно кричали:—Володя, иди скорей: жук!.. А-а, жукович, попался! Плавай в банке!

— „Свернутся в Волгу, потонут,—тревожился Мокряков,—а я отвечай: сторож. Скажут—не доглядел. Уложат, подведут статью!..“ И гнал школьников от железа подальше.

Солнце миллионами буравов сверлило берег, чуть дымящийся у воды. Скопившаяся на набережной жара разбавля-

лась струями волжской прохлады. Не набережная, а баня!.. Двое рабочих-поденщиков нехотя ломали решетки, бездонные ванны, сварные трубы, все громоздкое, не уместящееся на площадке весов. Однотонно и глухо шумела мельница, будто солидно кого-то уговаривая. На тротуаре, против трехэтажного облезлого дома мукомолов, мальчишки играли в стукана, избивая, вместо денег, карамельные бумажки. На скамейке сидела старуха и блаженно клевала в зной!..

В эти часы, на безлюдьи, Мокряков менялся. Он хозяйски подходил к теплому, пахнущему кузницей железу, брал что-либо посылное дряблым, отекающим рукам, чаще—вьюшку, или задвигался, и внимательно вглядывался в нее.

— Моя..—озирался на поденщиков, на женщин, полоскавших в Волге белье, и сомневался:—а может и чужая,—клейма нет.

Кидал вьюшку и долго думал, перекосив редкие, грубоволосые брови и очищая ладонь об ладонь. Шептал одышливо: — Ляд с ней. Что уплыло с водой, того не вернешь домой.

Выкуривал жадно сигарку, вешал на дверку будки замок и плелся на мельницу, расплескивая по дороге спивыши.

Так прошли первые десять дней работы. Остановилась прибыль в реке.

Разлив встал на уровень перелома, так прошло двое суток. На третьи сутки вода дрогнула и пошла на убыль, оставляя влажно-слизистую, темную черту на серых булыжниках набережной. Впрочем, солнце быстро счищало эту черту. Рыбаки вытащили вятиля из Волги и развешали их на просушку, до будущей весны.

С водой пошло на убыль и сторожевское рвение Мокрякова. Работа утратила начальную остроту, мысли о старом, своем заполняли голову. Их вскармливала, подкрепляла газета, которую читал он по утрам, сидя у будки на снаряжном ящике. „Церковь под клуб. Церковь Спаса на Костях, где был Мокряков прежде церковным старостой, отдана кожевникам“. „Суд... П. С. Беляков за сокрытие дохода приговорен... с конфискацией...“ Мушнорядец Павлушка Беляков, теперь тоже седой старик... Время-то бежит, как вода на волжском стрежне! Точно вчера чудачили с ним в „Московской“, лакеев вгоняли в холодный пот угрозой не заплатить по счету... А Машка толстая, говорят, вышла замуж, дети есть... подумайте!

Чудачили... Фабрикант Екотов из окна рыбу удил из чана, поставленного в саду. Мукомол Шевляков за спасение своей жизни—в постав забрало—дал рабочему трешницу с собственноручной подписью. Время было такое: чудачками украшалась жизнь.

И он, Мокряков, бывало, весь город пройдет пешком, а подле мучных рядов наймет за пятак извозчика и едет к другу,

к Белякову. Голуби срывались с мучных рядов, вот как гикал извозчик, как трещала пролетка!..

Все чаще задумывался Мокряков у железа, ругался по пустякам с поденщиками: „Я не мальчик каждый день убирать за вас гири!“ Мальчишкам из дома мукомолов не препятствовал делать „блинки“. Он достаточно сознавал бесплодность раздумий о прошлом, но прошлое навязывалось, отдавалось в шагах, взгляде, слове, дыхании—прошлое было он сам. А куда погонишь себя?..

Однажды в полдни привезли к железу соборный колокол. Тройка дюжих татарских лошадей, запряженная в бревенчатые дроги, осиливала последний взгорок, скос от мостовой к берегу.

— Аля-ля! Фю-юуу, вы-ы... Не брались бы, ие-эхх!!!

Управлявший тройкой молодой коричневый татарин, скаля пенящийся зубами и азартом рот, польснул по тройке кнутом и откинулся на вожжах. На завороте дроги смяли молодую липку из тех, что росли по берегу. У железа тройка подергалась вразлад и встала, отфыркиваясь и играя мокрыми боками. Навальщики освободили колокол от веревок и заверток, троечник завел лошадей на улицу, передок дрог подвернулся и качнулся как человек, свихнувший ногу.

Навальщики, дунув в ладони, взяли стяги, заложили их под колокол. Один из них яростно пропел:— Ай, молодчики-и, берем разо-ок!.. Давай-давай-даваа...оп!

Колокол со стоном шмякнулся наземь.

— Вот и все,—сказал запевало, укладывая стяг на дроги:— закуривай.

Подошел старший по перевозке, пожилой татарин с обдавленными плечами, не смотря на жару—в глухой жилетке под пиджаком, в жирной ермолке на бритой, тыквоподобной голове. У него оказался несоразмерный фигуре, хриловатый, но веселый тенорок.

— Свалили? Ай молодцы, ай молодцы! Пока я калякал с знакомым—вы готова дела... Аюп, не спи, гоняй мух!.. Веди лошадей, лошадь жаркай, видишь пить тянет. Уйдет к воде, дрога накатит, что будит? Понимай мала-мала. . Сторож, принимай бога, пиши давай расписка!..

Татарин истекал энергией и потом, толкал ермолку на затылок, но она опять сплывала в прежнее, удобное ей положение. Нижняя, выпяченная губа его с клоком рыже-седых волос плясала даже при молчании ее владельца. Скупое прорезанные глаза мышатами шмыгали по лошадям, курящим на взгорке навальщикам, по железу, и наконец остановились на Мокрякове.

— Аа, сам железный сарь! Саяям-аликюм!

— Здорово, Смаля,—дружественно ответил Мокряков, принимая мясистую, с расколотыми ногтями, промазанную дегтем

ладонь.—Что кричишь, бесишься? Не банка меду—колокол—не украдут.

— Воруют,—сказал—Смаля, щурясь на молодого Аюпа, тоже ширококостого и с тыквоподобной головой.—Коренного бери, пристяжка сам пойдет, дурной!—крикнул Аюпу и до-сказал Мокрякову:—В Симбирске, бывала, украли. На заводе брали, солома в брюхо пихали, сто верст везли, не звонил... Этот колокол мы везли совсем недамна, а вот—лопнул. Серковной сторож баял, как саря стречал, маленька шибка ударил, готова дела... Гляди!

„Да вещает всяк язык глаголы...“ прочитал Мокряков на колоколе литые слова, а дальше они разъединялись трещиной и все шло вниз, в землю...

Смаля разоружил Мокрякова, сломал его намерение—поговорить. Мокряков и хотел начать с колокола... Сказать еще, что здесь, в груди валяются чугунные плиты с паперти церкви Спаса-на Костях... Где были молящиеся, там теперь кожевники. Где висел колокол, там пустой пролет в облака... Где была лавка старого железа Порфирия Флегонтовича Мокрякова, тут...

— Давай, пиши!—торопил Смаля, передавая Мокрякову карандаш, предварительно помусоленный. Накладная мотыльком перепорхнула с ручищи Смали в неверные, путающиеся пальцы Мокрякова, но колебаться было некогда. Смаля подставил сторожу мягкую, согнутую спину и диктовал ему через плечо.

— Пиши: один колокол получил—имя, фамилья.

...После приемки говорить о колоколе и прочем было поздно. И Мокряков кивнул на громыхающие по улице дроги и спросил Смалю:

— Твои лошади?

— Пара,—ответил тот, застегивая, как запирая, пиджак—Пристяжка наш. Одна моя, другая парня. Коренная артельная... Прощай. Работы беда сколько! Прощай-ка, обедать нада, потом на вокзал, котел валить нада, везти на листричный станция, беда!..

Сделав шага три, он остановился поправить искривившуюся липку.

— Сады сломали, плоха. Оправь пожалуста, у тебе время лишку многа!

И тяжело побежал догонять тройку. Мокряков поправил липку и даже поид ее из чайника. На обратном пути, с кпятком, он остановился против старухи, дремавшей у дома мукомолов и окрикнул ее:

— Здорово, стара!

— Здорово, немолодой,—очнулась старуха. Морщины ее разом пришли в движение, пытались выразить что-то, но безуспешно.

— Ну, я еще, положим, на деле,—всхорохорился Мокряков и провел пальцем по усам. Переложил чайник с руки на руку.—А ты как, на пенсию что ли поставлена?

— На сосыальном... Да ить все одно грешу.

— А ты воздерживайся, богу молись.

— Молись!.. Ко-то-рому?!—ощерилась старуха и встала.— Сношонка, проклита, все иконы сожгла. О-ох, рази вот из окна, на колокол господень...

Мокряков повернулся к железу. Колокол валялся рядом с трактирным кубом, худыми ваннами, коробкой гидравлического пресса... И вспомнил Мокряков, что был у него в лавке полупудовый колокол. Привез его на продажу в тележке красноносый, слезящийся человечиска и все канючил прибавить к цене на сороковку, по той причине, что колокол „мефимонный“.—Купили тот колокол на баржу по перевозке гравия: просить звоном пароходы о том, чтобы волны не захлестали груженую баржу... Конечно, старуха ничего этого не знала, и Мокряков искренне посоветовал ей:

— Молись на восток, вернее.

— А на колокол, аль...

— Не дойдет.

III.

Ночь на 25-е апреля была для Мокрякова потрясающей. Газета предостерегала об урагане. Двухнедельная, небывало ранняя жара должна была разрядиться сокрушительно, — с этим Мокряков согласился.

С полден стало душно, и Мокряков, чтобы побороть тоску, два лишних раза ходил на мельницу. Но с чая было еще хуже: сердце разламывало грудь, дрожали ноги, дергало в висках... Фу-у! — отдувался Мокряков и бродил к Волге умываться.

К вечеру небо завесилось космами сизых облаков, вытягивающихся из густой синевы в стороне заката. Облака были почти недвижимы. Но ниже их, особняком неслись белесые хлопья, и оттого, что не было ветра, они внушали страх... Ласточки черкали над самой Волгой. Мошкара пропала, зато лягушки неистовствовали в воде.

Минут на пять ветер рванул, вскинув от пристаней язык пыли; опрокинул яхточку доктора Свербеева, известного парусильщика и смельчака-оператора. Конечно, доктор не погиб, — он вынырнул из под яхточки, вкарабкался на киль и, стыдясь кричать о помощи, полкилометра плыл, до спасательной станции, где и был снят. И еще сорвало тем ветром красный флаг с частной баржонки и, вместе с гнилыми веревками, закинуло его на верхушки городского бульвара.

Темнота пришла вдруг, будто стояла она вблизи и ждала команды. Молнии от раза вспыхивали ослепительней и чаще. Казалось, кто-то бесстрашные и веселые засели за городом, по сторонам, и перекидывались огнем.

— У-у-уу-хх!.. Держи!.. Хо-го-о! — перекликались они по окружности горизонта.

Мокряков взгромоздил на будку плиты с паперти Спаса на Костях, заперся, завесил газетами окна и лег, укрывшись с головой. Но уснуть не мог. Черная тревожность ночи просачивалась сквозь фанеру и плащ, насыщала вздрагивающее тело сторожа тоской. В стороне съестных ларьков дважды трюкнул свисток милиционера, а может сидельца из пивной, — им тоже свистки полагаются, — и крик: „Держи, эй.. Держи-ите!“ Подле будки пронесся стремительный топот, удалялся, глухо, вяз в тишине... Железу, значит, не угрожало, и Мокряков не вышел из будки. Наоборот, человеческие страсти подействовали на него облегчающе, обволокли сознание теплом, покоем...

Но не надолго. Услышал Мокряков, как с лязгом, громоухом разлетелись железные воротни дома мукомолов, и жильцы — тысячи! — выдавливались воротами на улицу. Построились без разбора и тугой шеренгой оцепили будку, железо, Волгу... весь мир, который видел Мокряков в жизни. Кричали гулко, раздрающе: „Сторож... Ты... пррах... выходи! Выходи и сметайся, пррах, пррах!.. Мы собирали железо и мы его уничтожим. Вот-вот-вот!!!“ Они хватали железо из груди и с такой силой швыряли его в Волгу, что оно до бела раскалялось в воздухе, и Волга шипела, клокотала...

— Това-а... ах... поща-а... ади... а! — задыхался Мокряков в страхе. Рот жадно вглатывал, но воздуха не было. Пустота!.. А вот и будка распалась в куски, в гнилушки.. Земля вдруг охолодела, разжила, не держит... Не за что ухватиться... А! ящик, сиденье... слава бо-о... — Уцепился Мокряков за столик и проснулся.

Гроза, перевалив Волгу, играла, хохотала над городом. Ветер раздвинул на крыше будки листы фанеры и на столик текло ручьем. На стене подбитой чайкой трепыхалась газета...

Учинив крышу, Мокряков осторожно, скользя по разбухшей глине берега, тронулся в обход железа. Дождь горохом сыпал по намокшему плащу. Молнии вспыхивали в одном месте: над мельницей, мирно, равнодушно светящейся окнами. Молния вспыхивала хищным глазом и падала с явным намерением опалить мельницу, но на половине падения она теряла решительность, скользила вправо и гасла в Волге.

— Свят-свят господь савао... — шептал Мокряков, насилая себя на покорности и смирении. А гром, видимо, недовольный поведением молнии, обрушивался ругательством; — Ррастяпа!.. Трррусишь!.. — но быстро смягчался и, уползая в черное логово, за город, уступами грозил: — Прро-го-нюу!..

И с этим совпадал конец молитвы Мокрякова: „славы твоя“.

Дом, как и мельница, светился окнами, узорился растениями и клетками с комочками спящих птиц. А одно окно—совершенно чистое было распахнуто и в нем чернел человек. В гром, в дождь, в молнию ввинчивался его поющий голос:

Кто любит жизнь, кто смерти не боится—
Садись в челнок, отвязывай причал...

— Смел, глотка... Ударит, так не запоешь,—ворчал Мокряков. Очертания железа были столь знакомы, что даже в ночи, в тревоге Мокряков нашел его неприкосновенным. Лишь с подветренной стороны, в куске трубы с обувной фабрики (прошлый год трубу сложили кирпичную) Мокряков слышал странный шорох, будто чистили трубу изнутри большой тряпкой. Будучи без очков, он низко нагнулся к трубе и отшатнулся... Из трубы торчали две пары ног: пара обутая и пара босая, причем обутая была меньше босой. Мокряков пнул трубу носком сапога и необыкновенно сильно от страха крикнул:

— Кто тут, эй?!

— А ты кто? — хрипло резонирующе прогудела труба.

— Сторож я... Не место выбрали, это самое... Здесь казенное железо, а не ночлежный. Ступайте, ступайте!..

Ноги помесили черноту, распутались, но вылезать не хотели. Голос прогудел растомленно, успокаивающе:

— Брось, отец, разорваться Нам твоя труба нужна поскольку дождь и тому подобное. Акромя копоты мы ничего отцеда не возьмем.

Мокряков согласился с голосом и пошел прочь.

IV.

Утро наступило чистое, сияющее, как лицо умытого здоровья-ребенка. Часов до восьми набережная блестела лужами и отмочинами, а после солнце выпило их и все—тротуар, мостовая, глинистая дорожка по обрыву—приняло свой обычный цвет. Только липки, измученные двухнедельным зноем, пылью и руками мальчишек, зеленели еще свежо, обрадованно, да железная груда долго курилась испарениями.

Мокряков после ночной тревоги чувствовал небывалую приподнятость. Хотелось движения, действия. В нем отросли мертвые инстинкты. Например, он очень внимательно смотрел на женщину, полоскавшую белье. Она угрузила мосток своей тяжестью, и ее могуче-раставленные, оголенные выше колен ноги попирали Волгу.

— Ах ты, сделай милость!—сказал он и ушел от соблазна. Но возвратился, еще посмотрел, провел пальцем по усам и спросил себя: Чья ж это такая пышная, а?

Он хотел спуститься к Волге, но другое, не менее трогательное обстоятельство отвлекло его. Мимо железа шла дебелая, сонная нянька с ребенком. Он, выросший из полосатой комбинашки, перетянувшей его полные, литые формочки, смачно нашлепывал сандалиями и, вскинув высоко палку с красной тряпичкой, вдохновенно пел.

На фабрике шапка сюда...
По семь океанов разделим
И малые с нами сюда..

— Ах ты, какой певец,—сказал Мокряков, сияясь выкроить на лице радушие и чувствуя, что это, как раз, и не выходит. Ребенок остановился и попятился от него к няньке.

— У кого живешь? — спросил ее Мокряков, намереваясь заманить ребенка к будке. Нянька с трудом подняла веки и шмыркнула носом.

— Анна Марковна не велела нам заговаривать... Да мне и фамиль-то их не выговорить. Левочка, подем.

— Вот дура пухлая, вот деревня... Да погоди, хоть я ему конфету дам.

— Нету-нет, что вы! — замахала нянька широкими, как тюленьи лапы, ладонями. — У чужих брать не велено. Левочка, подем, родной... Запевай, ну!

И тоненько выдавила: — На фабрикe шапки сюда-а...

Мокряков покачал головой и пошел к железу, чтобы исчерпать разговорный порыв. Он взял вьюшку и заговорил с незримым, но таким осязаемым близостью своей человеком.

— Уважаемый, напрасно, ей-богу. Где вы по нынешнему времени, это самое... найдете такую вещь за полтину?.. Не надо вам, я вижу, роется...

— Порфирию Флегонтычу, доброго здоровья, здравствуйте! — прозвучало залпом за спиной. Мокряков уронил вьюшку и почувствовал, вместе со стыдом, ушиб в правой ступне.

Человек, настоящий, живой, до раздражения знакомый, стоял и улыбался Мокрякову. При мальчишеском росте — почти старик. Вятый, угрястый лоб, свислый индюшачий нос, жиденькая, будто насильственно выращенная растительность, подслепые уменьшающиеся с годами глазки, ситцевая рубашка с простиранными до подолеки воротом, пиджак с чужого плеча, сапоги с искривившимися голенищами — все, все до единой черты и нитки знакомо Мокрякову!..

— Здравствуй... Что скажешь хорошего?

— Хе-хе... Хорошо ушло в калошах, а нам для подпорки остались опорки... На старьшко пришел поглядеть. Да вы признали ли меня? Печник я, Коленкин.

— Помню, как же.

— Нельзя не помнить. Я одной проволоки перебрал у вас, поди, с воз. А это, — вьюшек, дверок, задвижек — счету нет. Да при

тогдашней вашей торговле моя покупь, как все одно капля в Волге. Машисто вы торговали, шибко.

— Да...

— Оно хоть и старье, а нужное. Невидное, москать, а капитал. А взять наше дело, печное—тоже темное, тоже прибыльное. Закатишь, проволоку в кладку, новая она аль горелая—неизвестно. А счет представляешь хозяину полный. Да нешто хозяева доглядывали, и-и!..

— Это к чему ты говоришь?—остановил Мокряков Коленкина. Ему был неприятен печник за то, что подслушал он, подкравшись, мысли Мокрякова и за то, что портил он Мокрякову легкую приподнятость чувств.

— К чему говорю, да к пустому, к накладкам!.. Коснулось мне купить пяток накладок—и нет. „Все железо идет на строительство“, Хорошо, — говорю прикащику, — эта ваша идея прекрасная, да нам от ее не слаще. А народу в лавке полно, и все больше—фабричные. Кто к кровати приценяется, кто умывальник трогает... так, думаю: нате вам. кушайте, хе-хе!.. Прикащик только ежится и твердит одно: „Не могу“. Как его заучили, так и твердит. Не могу.. А я как могу? У меня боров, как чорт, всю сарайку раскачал без огорожки. Одним деревом, без железа, его не удержишь. Случной, задался, слава богу. Трех штук в день кроет и пищи особой не спрашивает, прямо золотой боровак. Так дозвольте, Порфирий Флегонтыч, порыться в железишке, моть што найду?

Печник просительно заглядывал в кровянистые от бессонной ночи глаза сторожа, но тот медлил с согласием. И печник, решив, что слова еще не дошли сторожу до сердца, снова открыл разговорный клапан.

— Я на сон откровения читаю, так вот подходит... Все, как есть по писанью укладывается. Не знаю как вы, Порфирий Флегонтыч, а я так очинно замечаю. Сказано: придет время печати атихристовой, а что сейчас без печати?.. От рождения, москать, и до смерти вся жизнь человека опечатана. Что только на лбах не ставят, а на спинах—дошло!.. Сказано: и восстанет народ на народ, а рази не восстали?.. Да чисто дьяволами ощерились все друг на дружку. Говорит: „Или борова ликвидируй, или я поставлю вопрос“. Ставь, власть ваша!.. Раз, говорю, ты рабочий, член, так должен иметь нисхождение ко всякому человеку, как сам испытавши тяжесть трудового сословия... Раз мой боров давит тебе на квадратную площадь, так пожалуйста, выдели мне место особо и я из сарайки уйду. Выделить некуда, ну, значит, сшиб яго эфтим. Так он, ненавистный, другое привел: заразу. Сколько годов евонные детки дышали, а теперь вдруг не могут, нежные стали, скажи пожалуйста!.. Да не та обида на фабричного, как на образованного. Ветеринарный насупрость живет, из хохлов вроде, по разговору-то. Вчера встречает меня и заявляет

насчет самокрытия, искусственного, значит, оплобо... Да одним словом, боровов, грит, скоро не потребуется, свиней будут крыть машиной. Ну, шаба-аш! Валяйте, власть ваша!.. Да только не бывать этому, по писанью. Все испровергнется, по откровеньям, в сорок два месяца... Так дозвольте, Порфир Флегонтыч, поискать наугольнички?

— Не могу,—сказал Мокряков, как ушиб.—Железо не мое, советское.

— Печально... И тут „не могу“. Тогда что ж?—тогда придется через „не могу“. Украсть—и всех разговоров.

Печник рассыпался холодным смешком. Сторож в тон ехидно ответил:

— На воров, брат, сторожа поставлены.

— Да не простые, хе-хе... Хозяева, вот беда! Чем владели, то теперь сторожат... Значит, про всякого свой страх припасен. Прощения просим.

И насмешливо тронул картуз.

— У, выжига!.. Жулье вонючее!—клокотал Мокряков обидой вслед печнику.—„Боров. Проволока.“ Ишь ты, с чем подъехал. Дай ему, раздобрись, а он после сам пойдет в контору, да и докажет... сволочь проклятый!

И пошел к будке, чтобы успокоиться за вертушкой махорки.

V.

Дни с восходами и закатами, ветрами и дождями перева-ливали через железо и будку—через жизнь Мокрякова—с такой естественной и удобной закономерностью, что он принимал их по высшей цене. Теперь обратно, племянник навещал Мокрякова, угощался в будочке чаем (пива Мокряков не разрешил: служебное место!) и на самодовольство дяди—„Живу, как на даче“—отвечал тем, что высовывал из будки сухощавое, бритое, в едкой, несмываемой копоти лицо и произносил:

— Действительно!

Потом они делились новостями недели. Племянник что ни говорил, все под конец сводил к заработку.

— С работой дрянь, затирает. Старые моторы перебрали, а новых в обрез. Здесь пришли из Москвы два автобуса, ничего, подходящие... Один сломался на рывине, в Коровьей Слободке. Ось погнуло. Приводят к нам на ремонт, а ремонт по тарифнику не усмотрен. Он усмотрен, в общем, но по заграничному автобусу. А это ось своя, совсем другая марка...

— Какая другая?—вмешался Мокряков, прервав стариковски-старательную жвачку.—Ось, она и есть ось.

— Извини. Ты не знаешь. Есть разница в диаметре и вообще... Заграничная ось имеет упор на качество, а наша на толщину. Припиловка, конечно, одна, но тут есть свой

принцип на заработок, чуешь?.. А эти у лома—кивнул на поденщиков—по какому разряду?

Мокряков покосился на окошечко.

— А бес их знает. Меняются со днем, как в коронашки играют. Эти сдельные, кажется, второй день работают до темна.—Вдруг Мокряков просветлел и шаркнул пальцем по усам.—А ко мне вчера приходила охрана, сторожку обследовала, железо, плащ—все это ладно.. Так что: к питанью придралась! Говорит, сухомятка вам во вред, живите на квартире, а сюда приходите на восемь часов. Хмм! Нет уж, спасибо, говорю. Охраняйте, молодой человек, себя, а меня, старика, бог сохранит. Сказал это и вижу—неладно: нахмурился мой охрана, не по губе видно... Черненький такой, из евреев... проворный. Да ты пей, я еще схожу. Кипяток на мельнице хороший.

Волга успокоилась после весенних буйств и заметно обнизла. Противоположный берег с березами в тугой, матерчатой листве, удалился. В песнях, свистках, шлепках паровозных колес слышалась уже не гульба, а работа. От пристаней наносило к будке дымком и вареной картошкой: мастеровщина обедала... Плотники, маляры, штукатуры, каменщики, землекопы поднялись с весной в деревнях и шли в город, на стройки. Они ночевали у пристаней, у костров, греющихся один бок, а утром толкаясь ошалело и задевая встречных сундуками, котомками, гущей двигали на паровоз и плыли в хлебообильные низы, в места, приманчивее которых для крестьянина ничего нет на свете...

Вечерами Мокряков уже не прятался от людей, да и меньше их стало на набережной. Город открыл для людей множество иных соблазнов и приманок. Мягко урчала музыка на бульваре и в профсоюзных садах. На площади „Спортинтерн“ открылись жаркие схватки футбольных команд. Выше пристаней поставили на якорь, на все лето, нарядную купальню... Мокряков заговорил с людьми!

Однажды, возвратясь от ларьков, увидел он у железа девочку-подростка, знакомую: из дома мукомолов. Он знал ее, как певунью новых и новых песен, как командиршу чумазой, горластой, в синяках и ссадинах, оравы, не раз покушавшейся уронить будку. По утрам девочка выходила из калитки, одетая в синюю, без единой сборки юбку, кофточку цвета хаки и красный башлычек, и была строга, как взрослая.

И вот, пожалуйте!.. Качается, серьезница, на выгнутом котельном листе, страх смотреть. Ржавый, тяжелый лист разболтался, гудит и пыль из под него ветром в стороны. А девочка раскраснелась, крепче, азартнее нажимает на края листа с ладными ногами в спортивных чунях, и так мотается, что вот-вот оторвутся ее подрезанные, напитанные солнцем волосы...

— Барышня, нельзя качаться, — сказал Мокряков. — Ступайте играть в другое место. Девочка, не умаляя хода железной качели, выкрикнула:

— Только не барышня! И почему нельзя качаться?

— Очень просто, — хрипел Мокряков, удивляясь ее смелости и тому, что слова не подбираются. — Сказано нельзя, значит нельзя. Надо слушаться...

— Но почему же, дяденька, я не уясню?.. Ведь я не мешаю вам, верно? А если железо сломается, так — неважно, оно в печи пойдет, на переливку.

— А если нога сломается?

— Ну-у! Это напрасно. Можете не беспокоиться. Я за себя отвечаю.

Она ловко прыгнула с листа, и тем избавила Мокрякова от муки искания слов. Но он не мог смириться с тем, что какая-то пионерка, пуплыш, будет торжествовать победу. И он привел, казалось, самый веский, неопровержимый аргумент:

— Железо казенное.

— Ха-ха-ха! — залилась девочка, презрительно пырнув губами. — Казенное... Чудной вы, дяденька, право. Значит, по-вашему, и Витька казенный? Во-от потеха, ха-ха-ха!..

Резко, как актеры на экране, перекроила лицо в серьезность и сказала авторитетно: — Витька наш с прочими ребятами собирал железо, а разве можно сказать — комсомол казенный? Это в корне недопустимо.

Пожала плечами и пошла от ошеломленного сторожа. Он вспомнил грозу, сон и почувствовал органически, что ослаб в нем самый надежный винт, тот, что укрепляет человека в системе житейского взаимодействия.

„Мы собирали железо“ — отдались в Мокрякове слова грозных видений, и он, вздохнув, скрепил их хмурым, родословным:

— Действительно.

VI.

— Зина, смотри... Замечательная вещь!

Парень в белой, полурасстегнутой рубашке, заправленной в стандартные брюки „Москвошвей“, и в размятых, на босую ногу сандалиях, не ждал, покамест Зина решится лезть к нему, на верх железной груди — положил на снарядный ящик стопку книжек, нырнул в железо и загромыхал, что-то извлекает. Когда спустился он с груди на землю, его крепкое, скуластое, широконосое лицо играло торжеством, удивлением и иронией. В полузасученной загорелой руке с размытой татуировкой наяды держал он чугунную калошу.

— Продукция, хо-хо?.. Что ты скажешь?

Девушка в тугой юнгштурмовке под ремешком и алой, блестящей, в желтых клетках повязке, отнеслась к находке равнодушно.

— Что скажу... Дурачество или реклама.

— Загадка!—Парень так оглядывал калошу остро очерченными глазами, будто очищал ее от пыли и ржавчины. Слизив за книжками, он со смехом примерил калошу, и этим увлек девушку. Ее спокойное, пушисто-смуглое лицо дрогнуло, ямочки на щеках и подбородке налились теплом, задором. Ухватив парня за плечо, она тоже померяла калошу и даже пыталась в ней пройтись.

— Ого!—улыбнулась она.—Нагрузка порядочная. Если в такой калоше шастать до университета, то...

— Скажут: за честь товарищу Напариной, как героине чугунного труда, все предметы... Но ты заметь, кто-то ее носил: обшаркана снизу. Вот интересно бы знать...

Начались догадки. Воображение бросило студентов в железный век, но тотчас же со смехом перекинуло их к более близким временам, в эру умственной зрелости, следовательно, изнеженности человечества... Парень неудачно коснулся эпохи феодализма и перескочил к Диккенсу, облитературившему зонтик и мокроступы, и все же точных дат касательно введения калош в обиход человечества не нашел. Он нырнул в „Словарь коммуниста“, прижавшийся к учебникам, но лишь подсадовал на его скудность. Несοοбразна была и догадка Зины о принадлежности калоши к водолазному делу и следующая—к юродству...

— Юродивому чугунная калоша, прежде всего, не по уму,—опроверг парень.—Тут мозга требуется. А главное, не по карману: она, ты знаешь, в десять раз дороже резиновой!

Мокряков наблюдал студентов от будки, наконец, встревоженный черезчур долгим пребыванием их у железа, пошел как бы в обход—и тайна калоши открылась.

— Папаша,—обратился к нему парень,—вы случайно не знаете, откуда эта калоша?

Вопрос польстил Мокрякову. Ах, сотни людей перебивали у железа, не замечая сторожа, и вот первый разглядел в нем и сторожа, и знатока! Глазницы Мокрякова, круглые и темные, как старинные гроши, заметно просветлели. Мокрякову захотелось говорить с молодежью, передать ей опыт бездетного старика, втуне пропадающий опыт... Располагал к тому и тихий, нарядный вечер, какие бывают в конце мая, когда весна невестится в лето. Красноватое, изнемогшее солнце запуталось и повисло на оснастке волжского каравана, уступая прохладе. Звуки приобрели легкую слышимость. В такой вечер легко родятся и хорошо вяжутся мысли...

— Откуда калоша?—тянул Мокряков и трогал усы, что означало расположение.—Калоша эта будет историческая, да-с... Вы точно по ученой части?

— Мы—студенты,—кивнул парень.

— Очень приятно,—улыбался Мокряков, сияясь придать своим выражениям изысканность, как делают это все торговцы в разговоре с образованными.—Я и сам любитель почитать газету, а особенно историческую про древность: как жили-торговали, какой народ какого покорял... А насчет этой калоши, — наставительно указал на нее негнувшимся пальцем, — скажу, что ее место не здесь, а в музее.

— В чем же ее общественная ценность?—спросила Зина, не скрывая безразличия и к калоше, и к Мокрякову. Ее сильное существо не мирилось с близостью мрачного, туго улыбающегося старика.

— А вот-с в чем... Слыхали, может, был в нашем городе миллионер-подрядчик Пряжников Никита Ульянович? От государь-императора лично получал подряды на дороги, соборы... и был он большой любитель церковного дела. Ездил этот Пряжников за границу, на воды, от сердца и прельстился там одной церковью, верней киркой. Был он почетным старостой у Власья, где теперь... гмм!.. ну, и решил он церковь Власья отделать на заграничный манер. Выписал из Москвы, за большие деньги, не десять ли живописцев, а настоятелю дал на золотой наперстный крест, и тот, дурак, растаял: отдал Пряжникову ключи, а сам за крестом, в Москву. Живописцы, им что? им только заплати—чорта, извините, намалуют. В два дня всю православную живопись зачистили, а вместо того написали святых заграничных: в сюртуках, в штиблетах—не святые, а, извините, котье...

Мокряков пугливо оглянулся—не подслушали бы его легкомысленность, и к сочному хохоту студентов пришаркалось его скрипучее: ххе-ххе-ххе!..

— Да. Как с бульвару, ей-богу!.. Настоятель, отец Севастьян, помнится, как взглянул на живопись—и в обморок, а потом в консисторию—и пошло... Консистория синоду, синод известно, государь-императору. Он сильно разгневался за поруганье православного письма, ну, и хохотал, говорят... А потом повелел монетному двору слить вот эти самые калоши—там, в железе и другая есть—и указал Пряжникову носить их до смерти. И носил, да не в тягость, а в гордость!

Мокряков вскинул над головой палец, но вспомнил про ошибку с охраной труда—опустил палец и сказал неопределенно:

— Вот какие были смельцы и как блюли указ высшей державы.

— А теперь?—Парень вцепился в глазницы сторожа квадратными, мерцающими иронией зрачками.

— Теперь не знаю... Вам видней, ххе-ххе!.. Теперь все задачи, задачи, массы... Человека-то и не слышать, вроде как, извините, человек стал лишний.

— Правильно, отец!—Парень дискуссионно отвердел глазами и махнул голосом через Мокрякова...—Теперь задачи масс. Индивидуализм, и общественная система...

И оборвался: Зина больно наступила ему на ногу. Потом строго спросила Мокрякова:—Сколько весит это железо?

— Сколько весит? А отсюда и вон по тот коридорчик навешано его 284 тонны, да в остатке, невешанного будет, я так считаю, тонн 50.

— И куда пойдет оно?

— В Сормово,—с болью ответил Мокряков, ибо в слове „пойдет“ таился для него тягостный смысл.. Ах молодость, ученая часть! Забыли они Мокрякова и, легко минуя заставы из старой, непонятной им мокряковской морали, горели своим. Парень срыву листал „Словарь коммуниста“, искал в нем данные: вес паровоза, парохода, нефтянки..

— И это называется пособие. Ни-чего конкретного!

— Витька, напрасно ты нервничаешь,—сказала Зина, видимо никогда не волнующаяся через край.—Словарь отвечает по основным вопросам. и если поместить в него справки о пароходах, паровозах, так это выйдет книжечка.. на грузовике возить, ха-ха!.. Чудак ты кипяченый, чугунная калоша, ха-ха-ха!..

Хо-хо-хо!..

Они хохотали, как целовались, обжигая друг друга дыханием и не замечая этого. По железу ползали лучи солнца, прорвавшиеся с горизонта в пространки каравана, и казалось, железо по-своему улыбалось студентам. Мокряков унес в будку обиду за невнимание и неразрядившуюся потребность передать в поколение свой пропадающий житейский опыт..

— Зинка, скажи: как точно марксистски определить эту грудку и ее дальнейшую переплавку? Задача!

— Как?.. девушка наморщила лоб, круто убегающий под повязку и чуть розовеющий ее отражением,—а как?

— Я тебя спрашиваю.

— Замечательно. Он спрашивает. А кто тебя выдвигал в учителя?

— Сам. Моя ответственность за вопрос. Я отвечу, а ты.. Не знаешь? эх ты, вечерняя университета!

Девушка вспыхнула и обрушилась на парня градом частых шлепков—по груди, плечам, каштановым, как шерсть густым и выгоревшим с концов волосам.. Он принимал шлепки не прячась, с улыбкой мужества и превосходства—как ласку..

— Ладно! Хватит, товарищ!.. Кончи, тебе говорят!.. Сейчас не военный коммунизм, а социалистическое строительство, и ты мне можешь не сразу разбередить родимчик. Недостатки надо устранять учебой, а не дракой. Слушай!—он выпрямился и заговорил протяжно, подражая кому-то из лекторов: Переплавка железного лома в новые средства производства, марксистки точно и вполне обо-сно-ван-но.. формулируется.. постой..

— Получи за простой!—и новые шлепки посыпались на парня. Он кинул учебники на железо, крикнул: „В атаку!“

схватил руки девушки и притиснул их к тугим ее бедрам.— „Смирно!“—будто не в шутку скомандовал он ей, и минуту глаза их мерялись, плавилась огнем борьбы и радостью касания... Из пальцев девушки один за другим выскальзывали и падали на пыльную площадку учебники...

— Пусти!..

— Пускаю... Стоять вольно, оправиться!

Парень поднял учебники, сдул с них пыль, подал девушке и заговорил, как небывало...

— Вечером я смотрю на это железо и мне хочется петь. Чем-то я горжусь, конечно, не тем, что я участвовал в двухнедельнике,—это ерунда!..—вздыхнул звучно и задвигал лицом.—Знаешь, мне хочется его описать. Эх, будь я писатель,—катнул бы я повесть об этом железе, даже роман... Глубокий, с начала и до конца... насчет переплавки жизни... Чем ты смеешься?

— „И посвятил бы его тебе“—верно?

— Это вопрос, кому бы я посвятил. Не будь самоуверенна, это во-первых, а во-вторых, я против всяких персональных посвящений. Я начал бы роман с того момента, как железо лежит в земле. Глубина, мрак... а затем приходят шахтеры...

— И ударяют в железо кирками—верно?—перебила девушка. На лице ее еще играли розовые пятна от недавней борьбы, глаза с трудом держали смех.

— Да...

— Эх ты, писатель,—„Да!“—девушка погладила парня по лицу.—А кирки откуда взялись у шахтеров, коли железо еще в земле?

Парень взглянул на девушку с восторгом и не сдержался—порывисто обнял ее тугую фигурку. Девушка не отбивалась, лишь спросила насмешливо:

— Что с тобой, сердечный? Пожалуйста, пусти. „Без регистрации не обнимации“. Ха-ха!... Нашел формулировку к чугунной калоше, ишь ты...

Когда проходили они мимо будки, парень кивнул Мокрякову:— Досвиданья. Но Мокряков посмотрел на него удивленно, будто видел впервые, и промолчал.

VII.

В последнюю побывку племянник нашел в Мокрякове необыкновенную оживленность и помолодение: Мокряков побывал в парикмахерской. По его бугорчатым после прыщей щекам машинка пробежалась, как сенокосилка по лугу; подравненные усы выглядели, как акации осенью, в отражении лужи. Общее улыбочато-хмурое выражение лица было таково, будто Мокряков хотел сказать: „Старый конь борозды не

испортит!“ И все, что ни делал он—заваривал чай, жарил на примусе колбасные обрезки, застилал столик газетой— делалось проворнее обычного и являлось как бы подготовкой к большому, неожиданному, что должно приятно удивить гостя. Племянник сказал:

— А тебе, видится, служба на пользу!

— Мне... А что? Из чего ты видишь?

— Постригся, ожил... точно тебе разряд прибавили.

— Ну, разряд!... Давай, ешь колбасу, пока горячая. Погода охолодала не в пору. Микола снегом дышет. Утром сегодня туман, руки стынут...—И вдруг решительно снял с гвоздика газету:—Читал про меня?

— Читал,—ответил племянник, стрекнув глазами на палец дяди, уткнувшийся в заднюю „полосу“ газеты.

Ответ племянника не понравился Мокрякову. Ждал он признательности своей удаче, или хотя бы теплого ответа. Но племянник сказал будто о некрологе. Странно!.. Может племянник читал заметку о дяде в рабочие часы и не вник?.. И Мокряков, не торопясь, во всех подробностях изложил случай, широко оправдавший его, Мокрякова, служебное назначение: поймку воров советского железа.

...Поклали они две решетки колосниковые, и я цоп за лодку, стой! Кто такие? По какому праву берете казенные вещи? Оправдываются:

„Мы рыбаки-любители, железо берем вместо якорей... поймаем на уху и привезем обратно“. Ххе-ххе!.. Дело почтенное, апостольское, да только я видел вас на развале, знаю вас... А черный, ближе который, закричал: „Знаешь, так не цепляйся!“ Да как толкнет меня в грудь и я прямо навзничь. И уехали. Я к милиционеру, к газетному этому... где газетами торгуют, милиционер—на пристань, к телефону... Догнали их на моторке, забрали... Жулики чистые! А главное, сегодня забрали, а утром гляжу в газете: „Сторож Мокряков отделался испугом“. Правильно. Быстро передают. Хорошая газета!

Мокряков, как и все старики, рассказывая, плохо видел собеседника. И когда вскинул на гостя поверяющий взгляд—не обрадовался. Племянник хмуро глотал из кружки; поставил ее, до отказа поднял брови, вытащил из кожанки свою газету, нашел в ней нужное и тоже отметил пальцем:—А это, небось, не читал. Тоже тебя касается.

Мокряков встревожился, одел очки и разобрал: „Индустриализация терпит... Железный лом второй месяц ждет отправки... Содержат сторожа...“ Хмм! Это за какой же день?

— За пятницу, только на другой странице.

Мокряков расслаб и выпустил газету из пальцев.

— Это я не знаю... просто не понимаю. В одном месте похвала, в другом прижимка... Намеки, наводки какие-то.. Хмм! Сторожа содержат! А кто его рекомендовал, да та же

газета! Сторожа содержат. . Открыли. А велико мое жалованье, 30 рублей. Так и то надо с'есть, и то надо человека на грех навести. Ну, время послал господь, прости великое согрешение.

— Проживешь и без жалованья,—испытующе сказал племянник. И, как до конца не залитый, разгоревшийся пожар, зачадил, заплескались злыми язычками старые мокряковские страсти.

— И не жди, и не думай,—хрипел Мокряков, расширяя глазницы.—Ты, я знаю, и дом застроил, на меня надеючись, но... Димитрий. . вот, коли веришь,—Мокряков обернулся к иконе и вдавленно перекрестился,—чист я! Уволят, так к тебе приду, ради Христа...

В закрытой по случаю семейных разговоров будке стало душно, сумрачно. В пыльное правое окошечко упрямо тыкалась и злобно жужжала крупная муха. Племянник ухмыльнулся в землю.

— Ну это положим... гадалка надвое сказала.

— Не примешь?

— Не приму... Я сам с семьей живу в бане, а дом за лето не отстрою, говорю наперед: не подняться. Да и отстрою, так ты не пойдешь, чего притворяться!

— Спасибо. Утешил Родня!.—задыхался Мокряков.—Нет, ты не в сестру, ты в Солоденковых, мошенник! Ты задушил бы меня.. Ты знаешь, куда ушло железо,—в губпродком ушло, к инвалидам в кузницу, здесь оно, в этой куче, чтоб ей провалиться.. А на убереженое я жил десять лет, подумай: десять лет! По десятке десять десятков, по... Да что толковать, нет теперь проклятей нашего брата...

Мокряков скорчился и ухватился за грудь. Племянник шатнулся к нему, будто с помощью, но зашептал, опаяля дядю дыханьем, запахом железа..

— А часы золотые двой? А перстни? А медаль от управы?—оно целое, и нечего мне сказывать арабские сказки.

— Ты... ты от их заразился, от этих...—Мокряков совал трясущейся рукой к окошечку на улицу, пересеченному легкой лесов, опутавших дом мукомолов для ремонта.—Господи, прежде хоть терпели, росписи ждали, а теперь... Продано, слышь! Все уплыло в черные руки, в банок, псу под хвост... И не жалко: свое. Я добывал, я и проживал. Вы, вот, наживите, ма-ассы!.. рабочий кла-асс!..

Племянник толкнул ногой дверь и сказал:

— Вот что: я к тебе больше не приду... Мне кровь дороже этих разговоров.

Так пришло к Мокрякову полное одиночество.

В остаток дня и ночью он сторожил свое сердце. Оно разладилось и билось то часто, то с остановками, как дрянной мотор на разогреве. Его кололи, царапали чьи-то пальцы в новых наперстках, а потом мягко, горстями, как студень,

пихали его влево, под ребра... Но ощущалось это так глубоко, будто сердце было не в Мокрякове, а в земле.. Он засыпал, но отрывочно, тряско видел во сне незапоминающееся, но столь пугающее, что насильственно просыпался..

Луковица серебряных на медной цепочке часов показывала 4, а в окошечки протекал полный свет. По крыше будки со свистом скользил ветер, и когда Мокряков открыл дверь, чтобы взглянуть на погоду — ветер налил и затряс будку, как парус. Пестрое, поминутно меняющееся небо падало на Волгу, и Волга тоже пестрая, меняющаяся, отвешивала в берег пинки прибора. Растрепанно, с ругательским карканьем, летела за Волгу пара ворон—вот и все живое, что увидел Мокряков. На железо он даже не взглянул. Позже, когда мостовая за будкой загромыкала ломовыми дрогами (татары поехали на работу) с воли послышался голос.

— Сторож!.. Здесь сторож?

Мокряков не хотел отзываться, полагая, что опять кто-либо из ломовых пристанет насчет „подковишки“. Но со второго окрика отозвался готовно.. Заведующий Рудметаллторгом, придерживая от ветра кепку и несколько откидываясь назад, спросил:

— Как железо?

— Сохранно Что ему, лежит да лежит!..—Откашлянулся.— Была одна покраща, читали?

Мокряков намеревался сходить в будку за газетой, но заведующий холодно отмахнулся.

— Не надо... Я зашел сказать: вчера получен наряд на отправку железа. Дело теперь за баржой. На-днях она придет с низу и дело с концом.

Мокряков взглянул вдоль Волги и вздохнул.

— Значит, опроверженья не потребуется?

Заведующий придержал портфелем разлетающиеся полы новенького, коричневого макинтоша и удивленно поднял толстые, вихрастые брови.

— Какого опровержения?

— Да что.. сторожа напрасно держат?

— Не надо. Газета права. Если с этим ломом тянуть канитель, так знаете: он и вас, и меня, и все учреждение сожрет, только сам останется. Понятно?.. Значит, имейте в виду: с окончанием погрузки вас придется сократить.

С первого дня службы Мокряков знал, что это придет. Но оно заплескивалось приливом новой жизни. А теперь, точно как на барашках счетов: не сегодня—завтра. Теперь Мокряков будет смотреть вдоль Волги, в ее дальний, синевато-туманный, сливающийся с небом изворот, и в каждом буксире будет видеть врага, везущего конец... Будет ненавидеть теплый низовый ветер, помогающий буксиру... С отгрузкой железа для Мокрякова исчезала возможность жить в этом городе. Двухне-

дельник по сбору лома зачистил и жизнь Мокрякова, выкинув ее на берег Волги, на последнюю точку.

Мокряков негодовал на себя за растерянность. Говорил с заведующим, а закинуть два словца вперед—забыл. Бестолочь старая... Ведь есть же исход: погрузка! Ведь кто-то будет распорядиться, а кто смыслит в старом железе лучше Мокрякова?.. Хотя бы рабочие на перевеске—по этому видать!—валят кучей, не разбираясь. Руки обломать за такую работу!.. Пусть его, Мокрякова, поставят на баржу и как дело пойдет—любо дорого: железо к железу, чугун к чугуну, сталь со сталью. Ведь, никто, ни один бес не знает, что нельзя железо мешать с чугуном, железная ржавчина чугуну—проказа...

— Уплыву с баржей в Сормово,—планировал разгоревшийся Мокряков,—а там этого железа, да где его больше, как в Сормове? Там и паракорды и паровозы, и... там первое место. А этот город, да пропади он...

И Мокряков ушел в контору Рудметаллторга, завершать разговор. Возвратился понурый и вальнул на дождевик.

— Не от меня зависит, так... А Сормово чье, турецкое? Сказал бы прямо: стар, не нужен... вот и все. И ничего меня морочить.

VIII.

Пришло это в тихий, теплый вечер. Шестые сутки грузили железо. Черная, блестящая баржа с красной звездой на носу и крупными литерами на канте—РС 8070—глотала из железной груды предмет за предметом, и осталось от груды так мало, что даже разбитому, истосковавшемуся Мокрякову казалось: будка лишняя, ушла от железа... шабаш. Измятый, оржавленный берег странно оголялся, а баржа низла, низла, выстреливалась дрожащими якорными цепями, и напоминала кошку, готовую прыгнуть.

Часов в восемь, когда солнце пожаром заплескалось в окнах каюты, когда бревенчатые сходни успокоились от зыбаний погрузки и каютный дымок запах кулешом—у статков железа появился молодой сухопарый человек в мешковинном фартуке, в широкой, чужой жилетке на синей рубаше и с точилом на плече. Он вяло обрел железо, постоял, попыхал сигаркой... и вдруг решительно кинул ее к воде, снял точило и нагнулся к железу. Мокряков наблюдал его с привычного поста, ящика снарядного (плиты от грозовой ночи остались на крыше), забеспокоился и пошел к точильщику.

— Что, земляк?—спросил он его и ненавистно покосился на баржу.

— Здравствуйте,—сказал точильщик и побеспокоил мятую, рыжую, видимо, без тульи, кепку.—А вот железишком интересуюсь. Вы сторож, что-ли будете?

— Сторож.

— Хорошее дело. А я с заводом приехал,—точильщик усмешливо кивнул на инструмент,—думал малость заточить, ан, того гляди, и завод здесь оставишь.

— Почему?

— Проешь... Много нас, не выходит. Только из одной нашей волости человек пятьдесят поднялось и все точить, все в один город. Идем тут работы набраться? По лавкам ножей не сдают, там коренные точат, годовые. А по фатерам ходить тоже... всяко. Иная фатера чистая, а разговоры твои.. под титлом. Осенью, грит, заходи, а сейчас не тупится, не обо што, хе-хе... А я нонес в отдел ушел, обзаведенья нету. Купить, взорать — все за деньги, все с копеечки, а нонес знаешь: поработают пальчиком, а деньги спрашивают ладошей, так-что деньги-то мне больно надобны...

В ленивом рассказе точильщика, в его сереньких, ушибленных глазах увидел Мокряков свое отражение. Да и точильщик понял Мокрякова, сторожа при остатке железа Родство положений связало их.

— А что, и эта вещь пойдет на баржу?—спросил точильщик, указав на ржавый трехгранный прут с утолщениями на концах. Эта, усердно выкованная вещь напоминала захватанную спринцовку из парикмахерской. Мокряков сказал глухо:

— Завтра к обедам зачистят все.

— Жаль.. А эта вещь-та знаешь откуда? от старинного точила. У Егора Иваныча есть такое точь-в-точь. Так он его никому не даст. В музей свезти хочет.

— У какого Егора Иваныча?—нахмурился Мокряков, отдаленно заинтересованный этим именем. Он также безжизненно назвал бы любое имя, не связанное с остатком железа, с последними часами работы..

— Егор Иваныч Шигин—наш, сельской,—пояснил точильщик. От Бухолова. Точила сдает в работу, конешно, не так, не без денег. У него их до сотни. Своя мастерская. Вот и это—покоился на свой станок—его точило. Почему я и опасаясь: кабы без делов мне точило вдвое не вскочило.. А эта штука гожая,—поднял прут.—Братейник у меня столярит, на Егора Иваныча работает. Он бы мне станок когда у безделья не за дорого смастрячил, глядишь и был бы я со своим заводом. Свой-то не будет в убыток!..

Он говорил все смелее, вертел прут так и сяк, и чем зорче к нему приглядывался, тем яснее становилось Мокрякову, что у точильщика не хватит сил бросить прут на место: будет просить. И Мокряков готовился к этому, взглядывая на баржу...

— Отдайте мне эту вещь, а?—попросил точильщик голосом, глазами, всей фигурой. Так просят все крестьяне.—Положите-ко мне ее на разживу?..

— Нельзя: казенное... Чудак ты, право: кто у сторожей просит.

— Дытьт что такого. Это не значит,—взбодрел точильщик.— Теперь и все-то казенное, народное, как говорится...

— То и главное, что не все,—нервничал, серчал Мокряков.— Увидят с баржи, так покажут. Такая оторва приехала, хуже здешних. Слова не скажи, сейчас тебя...

— Не увидят!—горячо зашептал точильщик.— Я словчусь. . заслонюсь от баржи... во сто глаз гляди—не увидишь!

Мокряков взглянул на дом мукомолов, как зверь сетью, упутанный лесами, и еще тверже, суше сказал.— Не проси... время такое, стены и те видят... Положи. Да иди с богом, нечего тут тебе тереться. .

Точильщик будто не слышал.

— Ах ты, сделай милость?—тосковал он.—И денег-то нет при мне,—хоть бы вам дать маленько... Да уж дозвольте, а?.. Будьте такие добрые. Братейник у меня столярит, а тут оно... без розмыслу... Сожгут его в печах без пользы. А? Папаш? Да вы, коли опасаетесь—уйдите. Я один. А ежели что, так я на себя приму. Скажу: оне, вы, тоись, упреждали. Да чего вам жаль-то, ведь не свое?!

Последнее слово для Мокрякова было самое убедительное. Он еще раз взглянул на дом, на баржу и строгим шопотом приказал точильщику:

— Бери... Да не в руке носи, эк ты... Сунь под фартук, во-от... Экой ты, господь с тобой, теленок бухоловский!

IX.

По пути к будке переволновавшийся Мокряков радовался удаче и, как сыну, наговаривал точильщику.

— Сгодится, в дом не из дому. Помаленьку обставишься, и будешь жить... вино-то пьешь?

— Пью,—безотчетно ответил точильщик, ничего не чувствовал, кроме тяжести под фартуком и колючего желания скорей укрыться... Но укрыться не удалось.

Из калитки дома мукомолов вывернулся парень в белой рубашке, заправленной в стандартные брюки Москошвей. Заложив руки в карманы, он двигался наперерез Мокрякову и точильщику, и была в его походке странная натянутость, будто шел он по канату... На пустеющей береговой площадке он стал так приметен, что у Мокрякова разом пересохло во рту, а сердце заворочалось, как кот в мешке. Мокряков хотел погнать точильщика обратно, к железу, но неожиданно для себя остановился и точильщик прошел вперед... Парень стоял перед Мокряковым и мерцал иронией знакомых глаз с квадратными зрачками.

— Одну минуту,—задержал он Мокрякова приподнятой зуйкой, и крикнул точильщику:—Гражданин!

Точильщик закружился на месте, намеренный, прежде всего, бежать. И он убежал бы, бросив прут, но сторож позвал его к себе. Парень в белой рубашке несколько секунд выбирал, что сказать, — и эти секунды были для Мокрякова тяжелее всех тяжестей жизни, сложенных в одну...

— Слушайте,—заговорил парень.—Если вы еще задумаете красть, то делайте это ловчее. Полчаса собирались, полчаса колебались, так негодится.. Покажи-ка, что взял, может и трудиться не стоило.

Точильщик вынул прут и заморгал виновато.

— Верно, не надо бы. Дать я не ради чего, а на точило. Мне акромя этого прута насыпь горы всего, и я не возьму. Я сотроду не крал, а тут вот... подошло. В отделе я, а обзаведения нет, что только изба, да баба...

— Из деревни?

— Да. От села Бухолова, моть слышали? Отходник я, беднота, конешно...

— В Красной армии служил?

— То то, вот, нет. Не привелось. Бракованный я, отошел по легким. Одно легко у меня со свистом...

— Бывает, —перебил парень.—Так давай, приятель, свисти назад к железу, понял?.. А мы поговорим со сторожем...

Точильщик понес прут на место. И, когда он шагов через десять оглянулся, ему показалось, что он удачно избежал драки, сторож и парень яростно махались, напирая друг на друга. Точильщик бросил прут и хотел уйти в мельничный переулочок. Но любопытство одолело в нем страх...

— Ты не по ученой части, ты шпион! — визжал, тряся Мокряков...—из окошек, из газеты, из нужников шпионите, абы кому досадить...

— Дальше?

— Что—„дальше“?.. Мальчишка, сосунок! Ты прежде сказал бы мне... это самое... Да я бы тебя на глаза не пустил. Чайника не доверил бы тебе в трактир за кипятком бегать! Я не боюсь, скажу. Мне и жить-то, может, месяц осталось, а ты пытаешь... старика! Ы-ых-ты-ы...

— Старики в инвалидном,—твердо сказал парень, — а вы работаете, и я имею право делать вам замечания... Имею! Всякий имеет право: вы сторожите имущество всех.

Уверенность парня раздражала Мокрякова. Он знал, что парень прав, но весь копленный, до-пьяна перебродивший запас злобы, сжигал его до желтизны, до худобы, тряс его, как похмельного, и если не вылить этот запас—значит, умереть от желчного отравления...

— Еще не известно, чье железо, всех-ли... А ты словчился, усчитал: паровозы, пароходы, чертоходы!.. На готовом ехать хочешь, ххе-ххе... Поезжай!.. Дай вам бог сто дорог, да только ко-оро-теньких!..

На крик прибежали люди с баржи, человек по человеку подкапывались мукомолы, прохожие по набережной: скандал! Точильщика с „заводом“ на плече оттерли назад. Но он не менее других был охочь до скандалов, к тому же он решил сказать сторожу о железине. Он отнес точило в сторону и сунулся в народ. Но сторожа подле парня он не застал: согнувшись и поддерживая себя руками, как ношу, сторож брел к будке.

— Слышь, товарищ,—сказал точильщик парню, но тот не слышал—хмуро глядел в спину сторожа.—Товарищ!—тронул точильщик плечо парня,—да ты спишь, али что?.. Отнес я, чтобы апосля без сумнения. Ну е к дьяволу, эту железину. Провалакался с ей вечер, иде бы, может, заточил копеек сорок... Скажи сторожу.

Сумерки медленно переползали зубцы и шапки нагорных лесов, зыбались над Волгой, кралась по берегу, послушать разговор на круче... Одиннадцатичасовой пассажирский гукнул в сумерки свистком:—ууу, у, оуу!..

— Что тут было такого?—спросил парня костистый водник с чубом из-под кожаной фуражки, одетый, как в футляр, в брезентовую пару. Парень проверил толпу быстрым взглядом и ответил:

— А ничего особенного. Просто, был разговор с человеком... со сторожем, которому нечего сторожить... Вы с баржи?

— Да.

— Рабочий?

— Да.

— Значит, точка... Давай, расходись.

Через полчаса на площадке не было ни души. Вправо, на подъеме Волги горела заря, будто сушила воду. Пассажирский, отвалив, сделал крутой круг и побежал, яросто избивая колесами огненное свое отражение. Мельница и дом тоже кружевились огнями, и будто на них глядя, засветился желтый огонек в каюте баржи. А другой, азартный, полез вверх по черновине мачты: поднимали сигнальную лампу..

Х.

К одиннадцати часам погрузка железа закончилась. Ломали сходни. Разыгравшийся верховой ветер гнал по круче бумажки, окурки, ржавую пыль, будто подрядился привести набережную в обычный городской порядок. К барже, как сын к матери после долгой разлуки, прильнул буксирный пароход. Он шурувал, полыхая дымом, и все протяжнее, нетерпеливее кричал свистком к отвалу, будто звал набережную-домоседку в иные замечательные, прельстившие его места...

В час дня старший грузчик, задержавшийся на барже с подсчетом наряда, проходя мимо будки Мокрякова, заметил на крыше ее чугунные плиты.

— Э-эй, с баржи-и!—крикнул он в горячке, но одумался и, перегнув свое длинное, сутулое тело, вошел в будку. Был он там минуту и вылез растерянный, бледный, еще больше сутулый, в руке держал клочек бумаги...

— Ис..тория... денег стоила ..—выдохнул он и закружился по площадке, задирая шапку, с затылка истертую ношами.— Старик... Как подгадал... Хм! Что же делать-то?

Он кидал глаза к барже, к дому мукомолов, но они не виновались ему, тянулись к будке... Наконец он поуспокоился и стал разбирать записи на листке.

31 мая куплено... махорка, бумага, спицы 12 копеек... Племяннику Дмитрию Солоденкову,—совсем другая рука! — постскрипtum заметил грузчик,—трясущая... Оно у трубы... под-о...

— И больше все,—заключил грузчик.—Оно, а что оно—не доказано. Вздохнул:—значит, удар!

Грузчик уложил листок в шапку, вместе с нарядом, и тяжело побежал, полоскаясь штанищами, к пристаням, к газетному киоску с красивой продавщицей, где чаще всего прохаживается постовой...

Май — декабрь 1929 г.

Н. Соколов.

ДРЕВОНАСАЖДЕНИЕ.

Сначала копали глубокие ямы
И в землю вносили питательный
калий.
Ребята и взрослые долго, упрямо
Густой молодняк по трущобам искали.
И только потом, освежающим утром,
И чистые росы зажглись перламутром,
Когда закурилась дымками деревня,
И чистые росы зажглись перламутром,
Сюда принесли молодые деревья.
Сочились смолою душистые сосны
И пахли лопаты березовым соком.
Работали долго. И ветер несносный

Взвивался—и падал, как раненый
сокол.
И ждали березки со стойкостью
редкой,—
Врачующей почву,
Живительной влаги,—
И жалко повисли зеленые ветви,
Как будто пробитые пулями флаги.
И девушки землю водою поили,
Что-б эти кудрявые, крепкие корни
Не чахли в порыве напрасных усилий,
А в землю впивались смелей и
упорней.

Ярославль.

Р Ы С А К.

То не росы теплым летом,
В поле камни разноцветы
На серебряную скатерть
Сыплет солнце при закате,
Рассыпает.
То не барский сын в енотах,
В легких санках на охоту,
На коне на чистокровном..
— Это сын вдовы Петровны
Выезжает.
Не енотовый—овчинный
Тулупан у молодчины.
И одет он не от стужи,
На плечах мужицких дюжих,—
Для прилику.
Чистокровного, да в дровни!
Любо радостно Петровне:
— Посмотри, сынок, не слабо-ль?
Зацвела от счастья баба,
Как гвоздика.
А рысак дугу тугую,
Как добычу дорогую,
Над собой поднял высоко,
И в оглоблях, словно сокол,
Встрепенулся.
От ворот в заулок шагом...
Словно белую бумагу,
Снег надрезали полозья.
Ярославль.

Парень сладко на морозе
Улыбнулся.
На дорогу повернул он...
--Что там мимо промелькнуло?
Ты ли это, сын Петровнин?
Под тобой ли пляшут дровни?
Что я вижу?
Гладко выхоленный, сытый,
Словно ласточки,—копыта
Над землей в снегу мелькают,
На вожжах, не засекая,
Мчится рыжий.
Сторонись, нужда, с дороги! —
Чисто стелет быстроногий,
Словно ветер в поле дует,
Под откосы пыль седую
Разметаёт!
Что с тобою? Что случилось?
— Прежде рабствовать учила,
А теперь сама—поди ты!
Заплясала под копытом
Жизнь скупая!
То не росы теплым летом.
В поле камни разноцветы
На серебряную скатерть
Сыплет солнце при закате,
Рассыпает.

Д.м. Мозжухин.

О С Е Н Ь.

Носит осень сарафан
По сезону.
Шил слепой портной туман
По ее фасону.
Нитки прями пауки,
Клади в кочки,
Проверял: кулики
Швы и строчки.
Гладил мокрым утюгом
Ветер в роще,

И осиновым огнем
Вышил прошвы.
Надевало сарафан
Бабье лето,
Опахнул его туман
Дымным цветом.
И пустилась осень в пляс
Журавлиный,
И старик-туман увяз
В дым овинный.

Иваново-Вознесенск.

ПРЕДРИК.

Он не знаком был с грустью,
Когда чеканил шаг..
Он шел по Белоруссии,
Знаменами шурша.
Он мчался в бой, бывало,
На взмыленном донце,
И бешенство играло
На молодом лице.
Но дни в военном громе
Укрылись в камыши,
Мой друг в райисполкоме
Бумагами шуршит..
Толкует с батраками
О выборах в совет,

В мужицком шуме, гаме
Любому даст ответ.
Но, если загорланит
На сходе кулачье,
Предрик спокойно взглянет
На верное ружье.
Глаза пронзят любого,
Пылают, как пожар..
Знать, пробудился снова
Военный комиссар.
Что шел по Белоруссии,
Знаменами шурша.
Он не знаком был с грустью,
Когда чеканил шаг.

Ростов.

Ник. Орлов.

РЕЛЬСЫ.

Рельсы любят баловаться песней,
Громче песня—
Поезд подлинней,
Пассажирский,—песня интересней
А товарный—песня поскучней.
В сутки этак три-четыре раза
Отсчитают рельсы стук колес,
А потом, затихнут как-то сразу,
Только слышен легкий шум берез.
Ваша станция тиха и одинока.
Под окном колодезь в землю врос.
По утрам с далекого востока
Солнца луч выходит на мороз.

А ваш домик кружевами снега
Замело надолго и всерьез.
И лишь только отдохнуть от бега
На минутку встанет паровоз.
Постоит, и дальше понесется,
Только дым разносится вокруг,
Огонек последний улыбнется
И колес затихнет перестук.
Рельсы любят баловаться песней,
Громче песня—
Поезд подлинней,
Пассажирский—песня интересней,
А товарный—песня поскучней.

Иваново-Вознесенск—Севастополь.

Г А Р Ь.

(ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА). *)

I.

Уездный земельный отдел помещался в кирпичном двухэтажном доме купца Стешина. Обилие комнат, в которых совсем недавно благоденствовали домочадцы Стешина, позволило земельным работникам расположиться с некоторыми удобствами. Редкий отдел или подотдел не имел собственной комнаты. А отделов и подотделов было не мало: агрономический, лесной, распределительный, земельно-тяжебный, сельскохозяйственный, огородный, молочный и так далее. Пользуясь жилищным простором, земельные работники любили переезжать со своими столами из комнаты в комнату, с верхнего этажа — в нижний и наоборот, приводя в полное замешательство посетителей. Всякий, даже кто часто бывал в земотделе, каждый раз, идя в него, не знал точно, где помещается требуемый ему стол. Позавчера он был в нижнем этаже, направо, третья дверь, а сегодня, может быть, — „вверху, налево корридором, прямо — и упретесь“.

По этому случаю страшная суматоха царила в земельном отделе. Крестьяне потели, бегая по лестницам, корридорам и комнатам, разыскивая нужный стол. И, бывало, не находили его вовсе, ибо вверху говорили, что стол этот находится в первом этаже, — „кажется, направо, шестая комната“, — а в комнате шестой, направо, внизу, пожимали плечами и посылали обратно — „по корридору, налево, кажется, вторая дверь“. Ругались посетители, даже жаловались, но порядок оставался прежним.

Единственный отдел, который не переезжал с места на место, была главная канцелярия, с кабинетом самого заведующего. Канцелярия занимала три лучших комнаты верхнего этажа и другие отделы никак не могли соблазнить ее на переселение. Причиной тому являлась, прежде всего преогромная изразцовая печь с камином, дарящая день-деньской с избытком тепло, точно сама купчиха Стешина. Затем в расчет входили очень недурные обои, цельные стекла в окнах, прямо чудом не потерявшие еще своей невинности... А самой лучшей и теплой из этих комнат был кабинет заведующего. Раньше здесь спал „сам“ с женой, с горничной — попеременно. Хотя необъятная кровать с периной давным давно из спальни улетучилась и на учете у завхоза не состояла, однако, осталась

*) Роман „Гарь“ в ближайшее время выходит в из-ве „Московский Рабочий“ по серии „Новинки пролетарской литературы“.

лежанка, чудесная русская лежанка, способная вместить самую добротную купчиху. На лежанке теперь громоздились книги и бумаги, от чрезмерной теплоты желтея и коробясь.

Вот, в этой-то комнате с лежанкой, за этим-то столом с сукном зеленым, сидел новый заведующий земельным отделом Антон Кашин, с девяти до трех, вникая в премудрость своей ответственной работы.

Из волости он приехал в большом раздумьи, разбитый неожиданным отбором хутора, и здесь нашел некоторое успокоение. Правда, в первый же день работы он не почувствовал того восторженного настроения, каким он был охвачен ранее, до поездки в деревню. Растерялся восторг длинной, ухабистой дорогой, в мучительных воспоминаниях о собственном доме, вдруг пропавшем навсегда. И не радовала удачно проведенная разверстка в волости.

Он уж не давал себе клятвы „ночами не спать, ночами просиживать в отделе... не пропускать ни одной бумажки, каждую прочитать, понять и выполнить“ и даже не гордился больше своим назначением. Теперь ему все казалось простым, неинтересным. Грузно, с ленцой, сел он за письменный стол, как садятся за обед после долгих надоедливых приглашений, сытые люди. Ему было почти безразлично, как работают отделы вверенного ему учреждения, он явно скучал, слушая почтительные доклады агрономов, специалистов по лесному и земельно-тяжебным делам.

Немножко оживлялся, когда приходили крестьяне, еще за дверью снимали шапки, крестились, кланялись и, покряхтивая, доставали „гумаги“, обязательно спрятанные в кошельки или старинные кисеты. Антон усаживал ходоков на мягкий диван, расспрашивал и тут-же разрешал спор обязательно в их пользу, а не волисполкома. Была ли это жалость к родным по деревне людям, или обида на местную власть—он не знал, да и знать не хотел, творя доброе дело. И не беда, что иногда, на другой же день, его решения волисполкомы обжаловали, доказывая, что хитрые мужики об'егорили простодушного зава,—пусть: он не отказывал в просьбах крестьянским ходокам и любил их.

Однако, стоило ему только заглядеться на шубы и армяки, как в сознании невольно выросал дом в лесу, под железной крышей, дом, теперь загаженный и не свой. И минуты оживления пропадали, безразличие и пустота опять овладевали Кашиним...

Но все-таки работа давала успокоение. Можно было не глядеть на шубы и армяки, а подписывая бумаги, слушая доклады, перезваниваясь по телефону, забыться на несколько часов, стать чужим самому себе, жестоким и требовательным по отношению к подчиненным, ласковым и внимательным к посетителям. Можно было покричать и посердиться и одобрительно похлопать по плечу секретаря канцелярии, ловкого

парня из гимназистов, умеющего „в секунду“ найти нужную справку, прошение, дело... До трех часов время заполнялось легко, и не мучило.

Тоска начиналась, когда Антон приходил на квартиру, в дом Дивногорцева. Как на зло, по вечерам не было заседаний в комитете партии, и он не знал, как истратить свободное, скучное время. Дремал на кровати, не зажигая огня, протаивал часами у окна, следя за потонувшими в снегу, засыпающими домишками. Иногда становилось вовсе невмоготу, и он бродил по городу, пугая собак таинственным обследованием самых отдаленных улиц и переулков.

А хуже всего было то, что с ним в доме Дивногорцева не разговаривали. Его будто вовсе не замечали, хотя всего три человека обитали в каменной громаде: сам Дивногорцев, выпущенный из чека и вдруг переставший безобразить, его жена, молчаливая, черная, еще совсем молодая женщина, и какая-то кривобокая старуха, исполняющая работы по дому.

Дивногорцев по вечерам или сидел в своей комнате, замкнутой на ключ, или переставлял мебель в пустынном, нежилом зале. Последнее, видимо, было его страстью. Почти каждое утро, проходя на службу через зал, Кашин находил в нем что-нибудь новое: то большой круглый стол вдруг прижимался к стене вместо того, чтобы престомерно располагаться посреди комнаты, как это было вчера, а маленькое пианино меняло, наоборот, угол на середину паркетного пола. Меняли также места диваны, стулья, картины.

Встречаясь с Дивногорцевым, Антон пробовал заговаривать. Но старик, глядя на Кашина, как на пустое место, только выше подымал голову, собирая в горсть роскошную серебряную бороду. Он не отвечал даже на такой невинный вопрос, как: „что нынче на дворе-то, кажись, похолодало“. Сторонилась Антона и молодая хозяйка, изредка, по вечерам, игравшая на пианино грустные мелодии. Точно по приказу, кривобокая старуха поджимала губы, когда, шурша старыми барынинными юбками, проходила мимо Кашина.

Между собой эти трое законных обитателей дома также разговаривали очень мало и обязательно вполголоса. Дом казался давно позабыл, что такое смех и звучный человеческий голос, и походил на могилу с живыми мертвецами.

Если длительные прогулки по городу ночью не приносили покоя и сна, Кашин брался за последнее средство — шел к Алексею и там, в разговорах, за чаем истреблял время и тоску. Чаепитие у Алексея входило в расчеты Кашина и по другим причинам: с тех пор как потерял дом, он стал страшно скупым, обедал в коммунальной столовке, где вечно подавали на первое — суп с селедкой, а на второе — гречневую кашу с прогоркшим маслом. Ответственный паек, полученный тотчас же по приезде из волости, он для чего-то берег, обменяв скоро-

портящиеся продукты на бесценную соль и сахар. Аккуратно пил чай только в учреждении и пустым, если никто не предлагал ландрина.

В тот день, когда к упродкому подвернули первые подводы с новой продразверсткой, в земельное управление явились три ходока. В коридоре нижнего этажа, возле печки, они обогрелись и покурили, тихо переговариваясь между собой.

— Совершенно напрасно мы сюда зашли,—сказал один из них, длинноногий, одетый в клетчатое демисезонное пальто и заячью ушанку.

— Говорю я вам, друзья, земельный отдел не может разрешить нашего дела. Только напрасно потратим время. Исполком..

— Экий ты, Иван Ильич, несговорчивый, прости господи!— перебил второй, отдирая последние сосульки с черной курчавой бороды и часто мигая глазами. — Как же так не разрешит? Чай, союз-то наш будет, земельный?!

— Земельный-то земельный, да не в этом дело. Утверждает все исполком да комитет партии,—не сдавался длинноногий, суя в печку распухшие красные руки в чернильных пятнах.

— Ну-к, что-ж, коли нужда будет, и в исполком и комитет этот пойдем, — мигнул энергично чернобородый. — Верно Митрич?

Третий ходок, старательно куривший козью ножку, молча качнул солдатской папахой. Был он стар и неподатлив на слово.

— Одно меня беспокоит: почему Павел Федорыч с нами не поехал,—продолжал тот. — На собрании всем делом вершил, а как дошло дело до ходатайства, быдто напопятную пошел, прости господи!

— Нет, нет, что вы!—замахал красными руками длинный.—

Я-ж говорил, что Павел Федорович был у меня вчера в школе. У него жена заболела сильно... за доктором в Никольское поехал... и мне все поручил.

Ходоки помолчали.

— Пошли, что ли?—спросил самый старый, подтягивая кушак у шубы и надвигая на лохматые брови шапку. — Неча время тянуть, мне еще к свояку надотка.

— В самом деле, раз пришли—пойдемте.

— Пошли, пошли,—заторопил чернобородый, сморкаясь на пол.

Они решительно двинулись вверх по лестнице, расспрашивая у встречных дорогу к самому главному. У двери канцелярии ходок с курчавой бородой полез за пазуху вытащил кожаный кисет.

— Я заявление подам, а ты, Иван Ильич, пояснение скажешь. — Он усиленно замигал, еще раз высморкался и открыл дверь.

Они потребовали заведующего. Молодой парень в студенческой тужурке, чиркая перышком по бумаге, вертляво указал на смежную дверь.

— Прямо! — И для пущей важности добавил: — товарищ Кашин принимает.

Самый старый из ходок первый снял солдатскую папаху и пригладил густые, совершенно не тронутые сединой волосы. Его примеру последовал и чернобородый. Он сунул шапку в карман шубы, бережно развернул заявление, стоя на пороге — поклонился.

— К вашей милости, товарищ заведующий!

Кашин поднял вялые глаза, ощупал ими шубы и зевок застрял в глотке.

— Входи, — приветливо отозвался он. — В чем дело?

— А вот заявленьице наше... Иван Ильич скажет.

— Скажет! — подтвердил старый ходок, оправляя бороду.

Длинный ослабил шарф на шее и хрустнул красными пальцами.

— Вы, будьте добры, прочтите сперва. Это, видите ли, приговор общества, прочтите, пожалуйста. Что будет непонятно... то есть, я хотел сказать... Мы разрешения просим на организацию союза..

— Присаживайтесь, товарищи, — почти механически предложил Антон. — Сейчас все разберем.

Лист, исписанный красивым, аккуратным почерком, без единой помарки, требовал организации крестьянского союза. Союз этот, по мнению подписавшихся девяти деревень, был действительно необходим, ибо Октябрьская революция, наравне с рабочими, дала свободу и трудовому крестьянству, да часто эта свобода попирается несознательными элементами. Чтобы могло революционное крестьянство принимать посильное участие в жизни Российской Социалистической Федеративной Республики, безбоязненно и честно — вот и нужен союз, сплывающий и защищающий крестьянина.

Заявление заканчивалось лозунгом, написанным крупными печатными буквами: „Пролетарии и крестьяне всех стран, соединяйтесь.“

Здорово! Ну-ж, здорово! — восхитился Антон, и с силой ударил рукой по столу. — Правильно? Нужен такой союз... Крестьяне всех стран соединяйтесь... Давно пора!

— Нам очень приятно слышать, что вы, товарищ заведующий, поняли нас и одобряете всецело, если я не ошибаюсь, идею создания союза... — начал взволнованным голосом Иван Ильич, судорожно перебирая концы зеленого шарфа. — Мы крайне вам..

— Да чего там! — перебил с увлечением Кашин. — Я сам деревенский, понимаю, слава тебе... Правильно, обижают... И опять же принять участие, как там?

— В жизни Социалистической Федеративной...

— Во, правильно! Да через этот союз мужика можно подшибить на такие дела, аж чертям тошно будет!

— Сразу видно умного человека! — склонился к столу чернородый. — В момент дело обстряпали, прости господи!

Он так часто замигал, что на глазах выступили слезы.

— В момент! — повторил старый ходок и полез за табаком.

Длинный попытался еще раз отблагодарить Кашина, но тот и слушать не хотел.

— Сейчас в уком партии сбегаю. Да мы вам всякую помощь окажем!

Он с легкостью вскочил из-за стола и, почти не прихрамывая, пошел одеваться. И не было больше скуки и вялости, их сейчас точно в бане смыл с себя Антон, ощущая необыкновенную бодрость.

— Вы, товарищи дорогие, подождите меня здесь, в канцелярии. Я мигом.

— А зачем же вам, товарищ заведующий, в этот... в уком? — несколько разочарованно спросил чернородый, переставая мигать. — Разве нельзя без...

— Нельзя. Но, ты, товарищ, не сумлевайся. Все будет сделано, мигом!

Антон спрятал заявление и, мягко ступая ногами, обутыми в упродкомовские валенки, вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он похрустел бумагой в кармане и рассмеялся.

— Вот обрадуется Курапов! Догадались же, черти! — подумал он вслух и весело свистнул.

Он прошел наискось базарную площадь, задержался возле продкома. Вид подвод, нагруженных до отказа хлебом, вызвал в нем прилив новой радости.

— Из Краснознаменной что ли, братцы? — спросил он ближайших возчиков, определяя на глаз количество привезенного хлеба и сладко думая, что это его работенка.

— Из Богородской. А что?

Мужики, греясь, хлопали рукавицами, стучали нога об ногу. Лошади, убранные морозом в серебряные попоны, дымили паром.

— Так... я думал из Краснознаменной.

Кашин круто повернул к укому. Он минутку потолкался в общей канцелярии, перекинулся парой слов с управделом, с удовольствием пожал руки близ сидящим комитетчиками и, забывая досаду, вызванную возчиками, с любовью оглядел прокуренную комнату, ставшую ему сейчас такой близкой.

— Большущее дело у меня. Здесь ли Курапов?

Управдел не успел ответить, как из узкой двери кабинета высунулась растрепанная голова самого Ильи.

— Александрыч! Черт ты эдакий, звони по всем учреждениям — в пять митинг в клубе. Наши Харьков взяли!... Ага, Кашин, здорово!

Курапов схватил Антона за руки и, обняв, потащил к себе. Он тиснул его в двери, обжигая глазами.

— Харьков наш — понял? Украина, почитай вся, красная! Эх, черт!..

В комнатухе Ильи, затянутой папиросным дымом, как кисей. было шумно.

— Нет, вы поймите только: Украина—советская!—кричала Рожко, сидя на подоконнике и болтая ногами.—Ведь она хлебная житница наша. Будет хлеб армии и городу!

— Хлеб!—Чекалов кружился по комнате, потрясая только что полученными газетами. — Хлеб! Хлеб!

Алексей спорил с каким-то стариком, для большей убедительности держа его за рукав шубенки.

— Ты смекни, товарищ дед, если мы так и дальше на фронтах звертывать будем, скоро и твоя лесопилка задымит.

— Ну, уж и задымит?—сомневался старик, почесывая голый череп.—Больно востер ты, я вижу. Ты слушай меня, забрать-то мы лесопилку забрали, а где рабочие? А где рабочие?

— Будут, дед, и рабочие будут!

— Я только что из волости. Надо действительно согласиться, что мы крестьян подзадавили разверстками. При наличии свободного доступа хлеба с Украины, мы сможем сократить...

Роман Платонович, захлебываясь в смехе, повторял:

— Сократить, товарищ Рожко, непременно сократят!

И в удовольствии закрывал свои маленькие глазки.

Рожко оставила подоконник и, закинув косу за плечо, присела к столу, к двум молчаливым волработникам.

— Однако, товарищи, ваша Крюковская не дала еще ни фунта! Нажать, нажать, товарищи... Украина, Украиной, а пока что—нажать до отказа!

— Продотряд пришлите, с голыми руками не нажмешь.

— Пришлем,—ответил за Рожко Илья и, напевая песенку, стал снова перечитывать газеты.

Ошеломленный криками, Кашин не вдруг вспомнил, зачем он сюда пришел. Он точно впервые разглядывал сквозь дымную пелену маленькую комнатуху председателя парткома. Известие о вступлении советских войск в Харьков он принял, как самое обыкновенное, будничное дело. Он не интересовался событиями на фронтах и совсем не понимал значение происшедшего. Поразило Антона другое, вот этот шум, радость, прущая из Курапова, бесконечное кружение по комнате Чекалова, шаловливое болтание ног такой серьезной, как полагал Кашин, женщины, как Рожко. „Чудаки!.. точно с цепи сорвались... бесятся!“—подумал он, снисходительно усмехаясь, и опустил руку в карман за табаком. Он нащупал рядом с пачкой папирос тщательно сложенную бумагу и в сознании всплыли три ходака, ждущие его в земельном управлении.

Антон подал заявление Курапову и отступил от стола.

Его так и подмывало хвастнуть этим делом, но он сдержал себя и с молчаливой торжествующей улыбкой прислонился к стене, как это делал когда-то сам Илья, огорашивая заседание комитета приказом о новой разверстке.

— Что это?

Не трогая заявления, Курапов взметнул веселые карие глаза на Антона. В ответ получил улыбку и хитрое подмигивание.

— Ага!

Он пригнул голову, расправил лист, по привычке пробежал было только последние строчки, ничего не понял и принялся читать с начала.

— Ловко? А? — нетерпеливо спросил Кашин, расстегивая душную шубу. И не в силах больше сдерживаться, смеясь и путаясь, принялся рассказывать о замечательной выдумке мужиков, о союзе, который...

Курапов прочел заявление, не поднимая головы, слушал Антона, складывая и раскладывая бумагу.

— Ерунда! — сказал он вдруг резко и, выпрямившись, тряхнул кудрями. Швырнул бумагу под стол. — Не мели глупостей, Кашин!

Как на зло в комнате затихли разговоры. Слова Курапова явно слышали все.

— Что такое? Какие глупости? — подвинулась ближе Рожко, вытягивая худую шею. Из под белого кружевного воротничка выглянула розовая бородавка. Антон оглядел ее, как диковину, перевел глаза под стол: возле корзины с мусором, рядом с рыжими сапогами валялось заявление. Зеленые буквы сливались в неровные палочки и крестики. Прищурившись и напрягая зрение, Антон с трудом прочел еле заметный лозунг, совсем недавно такой большой и замечательно хороший: „Пролетарии и крестьяне всех...“. И ему стало скучно.

Борясь с пустотой и ленью, он поправил выбившуюся из под ремня рубаху, запахнул шубу и молчал, тяжелея всем существом.

Рожко достала из-под стола заявление, прочитала, брезгливо сложив в трубочку тонкие, подкрашенные губы.

— Эсеровская стряпня!

— А вот он этого не понимает. Говорит, замечательную вещь мужики выдумали... — Илья оглядел притихшего Антона, ему показалось, что тот осунулся, губы набухли и дрожат, точно перед слезами. Он пожалел свою резкость, ободряюще рассмеялся.

— Да ты, Кашин, не смущайся! С кем не бывает ошибок? Эх, вывели каждую букву! И лозунг — самый революционный... — Илья еще раз пробежал глазами заявление и забарабанил в нетерпении пальцами о стол. — Ну, что молчишь? Ну, иди-ка сюда, я тебе что скажу.

Кашин с трудом оторвался от стены.

— У нас, понимаешь ты, в деревне есть комитеты бедноты. Они ворочают всем делом. И исполкомы. Зачем же еще союз?— Курапов ласково потрогал его за рукав.— Кто в него пойдет? Все. И лавочник... и поп... и кулак. Ну, и смекни: кто в нем орудовать будет? Понял?

Антон, не слушая, опять устоялся в белый кружевной воротничок. Розовая бородавка ехидно шевелилась — Рожко хохотала.

— Товарищ, неужели вы никогда не работали в деревне и не слышали об этом знаменитом крестьянском союзе? Эсеры давным давно им пытаются одурачить мужика... Ведь, одно дело—рабочий класс, профсоюз. Пролетариат создал их еще до революции. Пролетариат, понимаешь, класс. А крестьянство? Оно, товарищ, неоднородно: там и бедняк и богач. И представьте, теперь этот беспартийный союз, объединяющий наравне с бобылем какого-нибудь трактирщика... Что получится? Или вот еще...

Женщина с розовой бородавкой на шее засыпала Кашина новыми истинами, и он попробовал следить за ними, понимать их, но не хватило силы и желания. Не дослушав, он отвернулся, тяжело шагнул к двери, волоча сломанную ногу.

Он прошел канцелярию и брел вслепую корридором, когда его окликнули:

— Товарищ, подождите... Как вас?.. Товарищ!

— Вас зовут,—сказала проходившая мимо со шваброй сторожиха.

Антон оглянулся. Размахивая руками, по корридору вприпрыжку бежала Рожко, выколачивая высокими каблучками дробь.

„И чего бежит... как девченка!“—лениво подумал он и остановился.

Рожко подошла вплотную и, пристально глядя в глаза, спросила обидчиво:

— Зачем вы ушли? Я хотела с вами побеседовать.

В полумраке корридора ей показалось, что глаза у этого странного хромого парня круглы и неподвижны, как у кошки. Поеживаясь от внезапной дрожи и смешного желания—прикоснуться к этим глазам, она повторила вопрос.

Кашин неопределенно мыкнул, делая слабое движение уйти.

— Подождите! — Рожко вложила маленькую ручку в широкую мужскую ладонь и задержала. — Ну, на что вы обиделись? Ведь, вы обиделись, правда?

— Нет... я... не обиделся,—с трудом ворочая языком, ответил Кашин, не ощущая женской руки, ласково пожимающей его пальцы

— Знаете, что?—улыбнулась Рожко. — Знаете, что, приходите ко мне на квартиру. А? Мы потолкуем, как следует. Я живу в клубе. знаете? В комнате номер семь... Ну, приходите,

пожалуйста!—уговаривала она, почему-то боясь, что чудной глазастый парень откажется.

— Ладно,—сонно промямлил Антон, чтобы отвязаться.

С тупой болью в сломанной ноге он дотащился до земельного управления, не раздеваясь прошел к себе. Не глядя на ходяков, сказал, что разрешения на союз не будет. Они долго спорили и ругались, а он молча курил.

После трех в столовке, без всякого аппетита, он похлебал суп с селедкой, не дождался второго и, придя на квартиру, с облегчением разулся и завалился спать. Сон пришел скоро, без натуги. Сперва отнялись ноги и утихла тупая боль, потом отяжелели и отвалились руки, сдавило грудь и большой живой камень пополз по ней выше... выше... лопнула горячая голова и стало легко и приятно.

II.

— Значит, ты не отрицаешь, что взял красноармейские пайки?

— Нет...

— И... истратил их на... свои надобности?

— Да.

Илья пожевал папиросу, поморщился и, не зная, что еще спрашивать, отвернулся к окну. На крыше соседнего дома голубел снег. Коричневая труба отбрасывала синюю тень. На трубе, в прозрачном от солнца дыме, копошились галки.

Курапову было жалко военкома, скрючившегося на стуле, растерявшего румянец. У военкома кривился полуоткрытый рот и глаза казались детски испуганными.

Илья слишком долго молчал, разглядывая галок. Военком слабо шевельнул руками, нехотя потер ладони.

— Ах, Сергеев, и дернул же тебя черт! Ну, как же это случилось? Что теперь будут говорить в городе?—обидчиво и тоскливо спросил Курапов, не поворачиваясь от окна. Не получив ответа, закурил новую папиросу.

— Стыдно, бра-ат...

Военкома передернуло. Он покраснел и, сжимая зубы, выпрямился.

— Товарищ Илья, не скули бабой! Действуй, как... Алешка!

Курапов не обиделся, невесело усмехнулся.

— Иди в чеку... запросим губком.

Сергеев встал, застегнул шинель и, не прощаясь, круто, в звоне шпор, повернул к двери.

— Постой!—вспомнил Илья. — Револьвер с тобой?

— Боишься, застрелюсь?—обернулся военком, облизывая сочные губы. И гордо расправил усы. — Какой же ты дурак, братишка! На... возьми!

Он отстегнул кобуру и швырнул на пол, широко распахнув дверь, протиснул огромное свое тело и медленно, точно с

сожалением, притворил дверь за собой. Рукавом он вытер глаза и отрывистой походкой вышел на улицу.

Курапов поднял с полу кобуру, раскрыл ее и для чего-то пощупал новенький офицерский наган, повертел и бережно отнес на стол. Снял телефонную трубку, запинаясь попросил председателя чека.

— Алеша,—сказал Илья,—сейчас придет Сергеев, ты помести его... Что? Нет, не отрицал... Пожалуйста, распорядись, чтобы его кормили и все такое... Не, не страшно, но слухи... Вот чего я боюсь! Положение-дрянь, а тут еще... Там видно будет. Пока...

И тут же вызвал военкомат.

— Кто у телефона? Ануфриев? Вот, брат, какое дело... Работай за Сергеева. Что?.. Говорит Курапов.. Потом, потом... Столкнись с продкомиссаром насчет пайков. Да...

Он повесил трубку, закурил, не чувствуя вкуса папиросы. Сгорбятил плечи. От двери до окна—любимый путь. Ходил, поглядывая то на лежащий на столе револьвер, то в окно на трубу с галками. И было грустно, хотелось покоя и ласки, немного женской ласки...

Скоро к нему постучались и, не дождавись приглашения, стремительно открыли дверь.

— Вы заняты? Простите, но мне необходимо согласовать окончательно вопрос о газете!—стоя в дверях и не решаясь войти, жизнерадостный и свежий, торопился Юрий Васильевич. План работы, потом передовая статья и...

— Ну, что-ж, давайте...—Илья провел рукой по лицу, стирая что-то надоедливое и неприятное, поправил волосы и принудил себя сесть за стол.

Невский устроился сбоку и, раскладывая принесенные бумаги, заметил револьвер и покосился вверх очков. На минуту у него защемило в груди, он как-то неловко, локтем, отодвинул неприятный предмет, прикрыл его папкой и с облегчением приступил к изложению плана выпуска газеты.

Когда дочитывались последние призывные строки статьи, в комнату вбежала женщина и в дверях крикнула:

— Илья, неужели это правда, что военком?..

Юрий Васильевич невольно повернулся на голос. У него закружилась голова и судорога свела неловко согнутую под столом ногу. „Боже мой,—подумал он,—да, ведь, это она?.. Вот встреча!“

И нелепая мысль притвориться незнакомым завязла в сознании.

Курапов не ответил на вопрос, и женщина детской играющей походкой прошла к столу. Тут она заметила Юрия Васильевича, оглядела его как-то с ног, остановилась на лице, прищурилась. И под щелками знакомых голубых глаз он закорчился припадочным, не мог выпрямить ногу. Не владея

собой, закрыл глаза и перед ним затрепетало письмо, написанное его почерком: „Я вас не знаю и ничего и ничего не имею с вами общего“.

„Да ведь она мне чужая!—открыл приятную новость Невский. „Ну, чего же я волнуюсь?“— И эта мысль подарила ему поразительное спокойствие. Стараясь глядеть на женщину, он первый непринужденно сказал, вежливо привставая со стула и поправляя очки:

— Кажется, я встречался с... с вами?

У женщины дрожали ресницы и брови, немного подведенные, причудливо меняли очертания.

— Да... кажется,—ответила она чуть слышно и глаза ее расширились и потемнели.

— Здравствуйте!—тем же непринужденно-вежливым тоном приветствовал Юрий Васильевич и поспешно, словно боясь, что спокойствие покинет его, протянул боком руку. На ладонь нерешительно легли мягкие, маленькие пальчики, те самые пальчики, которые он когда-то целовал и называл „виноградниками“. Он не выдержал и, леденя, а через миг подираемый жгучей дрожью, схватился левой рукой за бритую голову.

— Рожко...—сказала женщина, как бы знакомясь впервые. Теперь ее глаза снова светились снежным голубым блеском.

— Рожко?—обрадовался Юрий Васильевич, невольно выпуская женские пальчики, так похожие на „виноградники“.— Нет, тогда я, простите... ошибся.

Она с удивлением еще раз пристально оглядела его, но уже сверху вниз, подметила морщинки и лысину, скрываемую аккуратным бритьем, сердито дернула плечом. Невскому опять показалось, что глаза ее округлились, посинели и стали влажными. „Господи, да, ведь, она сейчас заплачет!—испугался он.— Неужели... неужели это она?“—И часто-часто замигал, так как было больно глядеть на нее.—„Она не может говорить, ей хочется плакать. Почему?..“

— Нет, вы товарищ.. Невский, не ошиблись.

„Ах какой я близорукий! Конечно, это она.“

— .. Это моя новая фамилия..

„Она! и губы поджимает, как прежде. Кого она презирает? Меня? За что?“

— ... Моя новая фамилия. По мужу.

Илья сломал карандаш.

— По мужу?

Почему Юрию Васильевичу послышалась дрожь в этом деревянном голосе? Или это его собственный голос дрожит, зачем то повторяя слова Курапова?

Рожко взяла из рук Ильи поломанный карандаш и, разглядывая его, опустила голову.

— По-бывшему.

И все. И больше ни слова, ни взгляда. Точно позабыла она его, переложив косу с одного плеча на другое, стала подробно выспрашивать Курапова, что случилось с военкомом...

Из комитета партии Невский прошел в свой отдел. Попробовал, пересиливая настроение, работать. Он мысленно говорил с сознательной грубостью: „К черту, товарищ Невский, лично! Партии нет никакого дела до бабьей юбки. И хандра—это буржуазный предрассудок. К черту предрассудки! Работай, если не хочешь быть подлецом.“ И он исправно было стал читать „входящие“ и „исходящие“, подписывая где нужно. Но карандаш в его руке вдруг брала другая, хрупкая, полузабытая рука. И кто-то тихо, наклонившись к самому уху, шептал: „По-бывшему... Нет, вы не ошиблись. Это моя новая фамилия по мужу.“ И бледные рыжие строки „отношений“, написанные водой чуть смешанной с чернилами, сплетались в золотистую косу, а точки пухли в розовые бородавки.

— „Это пройдет. Освежусь на воздухе, и пройдет.“—утешал себя Невский и, чувствуя, что сейчас расплчется, спешно накинул пальто и, с непокрытой головой, бегом спустился во двор. Стучало в висках, ядреный, морозный воздух казался горячим, обжигающим легкие. С наслаждением сунул Юрий Васильевич в сугроб потные руки и, почерпнув пригоршней пухлый снег, как воду плеснул в пылающее лицо. Стало немного легче, он повторил, вытерся чистым платком. Надел пальто в рукава и, слегка прикрыв тяжелую голову шапкой, пошел бродить по городу.

На базарной площади, возле кривобокой каланчи, ребяташки играли в шары. Все в снегу, они сами подобно шарам вперекувырку катались друг за другом, и смех их звенел, как тонкий прозрачный лед под ногами пешеходов. Смеясь и играя, они стаяй пролетели мимо Невского и, когда он нечаянно задел ногой один шар, какой-то карапуз показал ему язык.

— Эй, дядька, не трожь!

Юрий Васильевич посмотрел на него, на всех ребят, на шары посмотрел и ему захотелось быть сейчас вот таким же маленьким и беззаботным. „Воистину детство—золотая пора. Золотая... золотое... золото“,—повторял он понравившееся слово и почему-то представил себе это золото в виде волос, золотистых волос, заплетающихся в длинную, тяжелую косу. И мысль перескочила на ту, которая носит золотую косу, перекладывает ее за плечо, щурит глаза то голубые, то синие. Замедляя шаги, он отдался воспоминаниям; безвольный и слабый, как женщина, пил их точно вино, обжигаясь и хмелея.

Он вспоминал каждый день их короткого счастья, все встречи, разговоры, первое признание и первый поцелуй,—не в губы,—в шейку, в милую розовую бородавку. Как она была

нежна с ним! Как робко ласкала, даря целомудренную, девичью любовь! А потом...—Юрий Васильевич борется сам с собой, не хочет об этом думать и не может. Опять письмо, проклятое письмо стоит перед глазами, и дразнит, издевается..

III.

На другой день, пожелтевший и мятый, не освеженный морозным утром, Юрий Васильевич сидел в своем отделе и твердое желание „покончить все разом“—расползлось в неуверенность и обычное смущение. Механически разбирая поступившую почту, принимая и отпуская посетителей, он часто глядел на телефон, как на своего сообщника, но подозрительного, которому нет доверия. И, если телефон звонил,—не тотчас снимал трубку, не спрашивал сразу „я слушаю“, а осторожно прикладывая к уху коварное черное кольцо с серебряным глазом по середине, ловил шорохи, ждал лишь одного голоса, морщась и растирая голову. И только не дождавшись, говорил:

— Я слушаю. Откуда?

Не раз он брался за телефонную трубку, когда телефон молчал. На неизменный ответ—„центральная“, сказанный незнакомым женским голосом, он трусливо вешал трубку обратно и косил глаза, боясь, чтобы секретарь отдела не увидел его странной игры с телефоном. И нельзя было понять: чего он пугается, нужного номера или секретаря, могущего подслушать решающий разговор.

К трем часам снова разболелась голова. Он наверняка ушел бы из отдела, так и не вызвав нужный номер, если бы не счастье: желанный номер сам соединился с политпросветотделом. Помощник продкомиссара спрашивал будет ли в газете статья насчет новой продразверстки. О, как долго и внимательно отвечал ему Юрий Васильевич, чуть ли не целиком наизусть передавая содержание статьи: „Вперед, к мировой коммуне!“

Вот и отлично!—закашлял в телефон помощник, обрывая, наконец, разговор. Ну, всего. Значит, к-хе, статья будет? Ну, всего.

— Одну минуту!—не владея собой, крикнул Невский.

— Постойте, я хочу вас просить...

— Да?

— Я хотел вас просить... — повторил Юрий Васильевич и запнулся. В глазах у него завертелся стол, комната. Он пальцами, сам того не замечая, до боли закрутил на виске кожу и почувствовал, как под пальцами проходит пылающая волна.—

Я хотел... Позвать к телефону.. товарища.. Рожко. Да, Рожко!

И с облегчением откинулся на спинку стула, явственно слыша, как помощник продкомиссара зовет: — Рожко, тебя к телефону.

— Вот как просто... Сейчас поговорю, все равно уж, — он нежно погладил телефонную трубку и висок, нащипанный до красноты.

— Да? Я слушаю..

Какой странный приглушенный голос, совсем не тот, который он слышал вчера в парткоме! Она ли у телефона?

— Марья Павловна? — и сразу испугался такой интимности. —

— М-мым... товарищ Рожко?

— Рожко. Кто говорит?

— Невский... — Ему послышался в телефоне звук, похожий на удивление.

Но голос прежний, далекий и чужой, без передышки спрашивал:

— В чем дело?

— Видите ли, нам... мне, то есть, необходимо с вами поговорить.

— О чем?

— Я... я не могу этого сказать... сейчас. Вы понимаете? Где можно вас видеть?

— Зачем?

Как глухи и коротки слова! И почему секретарь перестал шуршать бумагами, чего он смотрит на Юрия Васильевича? Разве, так странен разговор по телефону? Мало ли какие дела есть у заведующего политпросветотделом!

— Прошу вас... скажите.. где, когда?

Телефон молчит.

Раз'единили? Порвался провод? Брошена трубка?

— Выслушайте, Марья... товарищ Рожко!

— Да? Ну...

Юрий Васильевич молит шопотом, чтобы не услышал секретарь: — Прошу... не будьте так жестоки... скажите..

Долго хрипит телефон. Невскому чудится смех, язвительный и торжествующий смех гордой женщины. „Пусть, пусть смеется, только бы увидеть, поговорить“.

— Хорошо. Сейчас я иду домой и мы можем встретиться... на улице.

Трубка повешена. Но Юрий Васильевич не замечает этого.

— Благодарю! Сейчас? Да? Вы сказали, сейчас?..

И вот, он под окнами упродкома, прислонился к палисаднику. Идет мелкий снег, он тает на лице Юрия Васильевича, туманит очки. Надо бы протереть стекла, уж плохо видят близорукие глаза в темнеющем раннем вечере, но оцепенели руки и не хочется их вынимать из теплых карманов пальто. Он ни о чем не думает, даже о предстоящем разговоре, будто потерял этот долго и страстно жданный разговор всякий ин-

терес. Похоже, что натянутые нервы не выдержали и лопнули, раз недвижим человек, точно в полусне. Вьются, кружатся в воздухе снежинки и вместе с ними кружится голова Невского, пустая и темная, как наступающая ночь.

— Ну... так в чем же дело?

Пальцы в кармане выпрямляются с машинной быстротой. По ним проходит разбуженная кровь, они шевелятся, снова гибкие и энергичные, царапают материю. Еще миг—и они протирают платком очки, быть может, мозг протирают,—так как нет больше тьмы и пустоты в голове, как часы, тикает в висках, и вспыхивают и не гаснут мысли...

Рожко, спрятав лицо в каракулевый воротник, маленькая, точно подросток, стоит перед Невским.

— Идемте, да быстрее. Погода не располагает к большим прогулкам и... разговорам.

Молча и послушно он идет за ней, потом рядом, застенчиво покусывая губы. И нет сил взглянуть ей даже на пальто. Ах, если бы можно было взять ее под руку, прижать к себе и, ощущая многообещающее ответное движение, сказать одним словом, одним замечательным словом, таким же маленьким, как она, сказать все, чем полно сердце!..

— Так, в чем же дело? Я слушаю,—сухо, будто в телефон, говорит Рожко, не поворачивая головы. — Ну?

Невский сбивчиво начинает объяснение. Они не встречались, кажется, шесть лет. И расстались при очень странных обстоятельствах. Это письмо... Он просит простить, оно было недобдуманно и глупо. Юрий Васильевич так страдал... Он понес заслуженное наказание. Зачем же еще... Пусть Марья Павловна забудет прошлое. Простит. Он молит ее простить! Ведь, она такая добрая, она простит, не правда ли... Боже мой, какое счастье, какое счастье! Он...

И в эту минуту, когда Невский пытался безсвязно передать самое главное, пылающее, и принимал ее молчание, как за согласие, за одобрение, Рожко остановилась и резко растегнула воротник. В сумраке лицо ее белело снегом, а губы казались черными. Она взвизгнула по-бабьи.

— Я вас ненавижу!

И перед глазами Невского мелькнул кулачек в лайке.

— Ненавижу!

Рожко подвинулась ближе и глазами такими же черными, как губы, подарила презрение и бешенство.

— Подите прочь! Шкурник!

Она заплакала и, иступленно прокричав еще какое-то унижительное оскорбление, побежала по улице, дико и смешно наталкиваясь на прохожих.

Перед дверью клуба вытерла глаза, оглянулась и стала подниматься по лестнице во второй этаж, ощущая на ногах неимоверный груз. Она часто останавливалась, безжизненно

прислонясь к холодным скользким перилам, чтобы перевести дух и утишить неприятно громкий стук в груди. И никто не мог бы сейчас поверить, что у этой женщины есть смех и быстрая, играющая походка.

IV.

Дом, где жила Рожко, назывался — „центральный военный клуб“. Никто в городе точно не знал, почему он носит такое громкое имя. Районных или еще каких-либо клубов не было; притом караульная рота да несколько красноармейцев военкомата отнюдь не являлись единственными его посетителями, в клубе сосредоточилась вся культурно-просветительная и массово-общественная работа города. Спектакли и вечера с оркестром духовой музыки, состоявшим из пяти—семи инвалидов, чередовались с собраниями и митингами. Здесь же была библиотека и, наконец, буфет, заманчивый буфет с горячим чаем и черным хлебом.

Каждый вечер клуб открывался в шесть. Немало посетителей бывало в разукрашенном зале. Но надо откровенно признаться, что причиной тому прежде всего был буфет, где, предъявив служебное удостоверение, можно было за малую плату получить стакан горячего чая с кусочком сахара, который способна унести муха, и ломтем ржаного хлеба без примеси.

Сюда забрел однажды и Кашин в ночной, безсонной прогулке по городу. Сахар и хлеб ему очень понравились, и он повадился коротать свободные вечера за стаканом чая где-нибудь в укромном уголке. С того дня, как он с позором провалился с крестьянским союзом и показал людям свою беспомощность, он боялся всех и жил в странной тревоге. Она пришла на утро, после удушливой ночи, полной страшных сновидений; вдруг стало ясно, что так долго продолжаться не может. Он чего-то ждал, чего-то хотел, что спасло бы и подарило покой и радость.

Он сидел в углу, возле самой буфетной стойки с трехведерным самоваром, чай давно был выпит, хлеб съеден, а уходить не хотелось, не хотелось остаться наедине с самим собой, с пугливыми, тревожными думами. Быть незаметным, но возле людей куда легче; можно даже забыть и, погружившись, как в прохладную воду после зноя,— в человеческий шум, в неясные, не долетающие до сознания разговоры, дремать в приятном бездумьи. И тогда самовар будет расти в прищуренных глазах до потолка, потом — вширь, во весь буфет, и верх-ногами смешно заходят люди. А раскрой глаза — самовар в миг сократится до обыкновенных размеров, а человеческие ноги вернуться на пол... Хорошо щурить и открывать глаза, как игрушкой, забавляясь обманом зрения.

Нынче Кашину не повезло. Только он вздремнул, играя с самоваром, как его тронули за плечо.

— Братишка, дай чайку попить... Вишь ты напился, а у меня места нет,— с добродушной грубостью говорил борода-тый красноармец.— Братишка, слышь?!

Антону жалко расставаться с насиженным местом, но требование справедливое.

— Вали... пей,— отдал он стул и пошел мимо буфетной стойки к выходу. У самовара он задел плечом женщину, цедившую кипяток в маленький никкелированный чайник.

— Осторожнее, товарищ!— сердито сказала она, отдергивая обожженную кипятком руку.

— Извиняюсь...— пробормотал Антон, разглядывая узкие плечи, покрытые теплым пуховым платком.

— Меньше толкайтесь, вот и все!— прежним сердитым тоном отозвалась женщина, бросая беглый взгляд на проходившего. Глаза их на миг встретились, обиженные и извиняющиеся. Антон узнал Рожко, она тоже его припомнила и с улыбкой показала покрасневшую руку.

— Кашин?.. товарищ Кашин, так это вы мне?!

— Я...я... растерялся Антон, не зная что делать,— уйти или еще раз просить извинения.

— Хорош, хорош!— дразнила Рожко, с удовольствием наблюдая за смущением.

— Позвольте, Кашин!— вспомнила она.— Ведь, мы успевали поговорить. Почему вы ко мне не заходите? Пойдемте сейчас?

Он колебался, опять со страхом думая о своей ошибке в комитете партии. „Выговаривать будет“— и с надеждой оглянулся на дверь. Рожко поймала взгляд, ласково удержала за руку.

— Нет, нет... Идемте. У меня есть свободное время и... у вас. И потом, мне сегодня... не хочется быть одной. Пожалуйста, Кашин!

Он нерешительно посмотрел ей в глаза, они были темны и как будто печальны. И ему стало почему-то неловко отказываться.

— Ну, что-ж... ладно.

Комната Рожко оказалась такой же маленькой, как сама хозяйка. У двери стояла кровать, покрытая темным дорожным одеялом. Как ни была узка кровать, она украла добрую половину комнаты. А хрупкий, качающийся на вывернутых ножках, стол с парой грубых деревянных табуреток занимал почти все остальное. Между столом и кроватью двое, при всем желании, не могли разом пройти. На окне, заменявшем этажерку, лежали стопочки книг, пачки аккуратно сложенных газет, коробка пудры, какие-то баночки и футлярики. Единственным украшением голых чистых стен являлось овальное зеркало в коричневой рамке.

— Ну, вот, проходи к столу. Будем пить чай и разговаривать. Можешь не раздеваться: у меня свежо.

Рожко пропустила гостя вперед и видела, с каким трудом преодолел он узкий проход и с облегчением опустил на табуретку.

— Осторожнее, не налегай на стол,—предупредила она,—качается.

— Качается?—Кашин торопливо отдернул локти, по привычке уже положенные на стол. Чтобы скрыть смущение он потрогал раз'ехавшиеся ножки стола.

Рожко прибавила свету в лампе под бумажным голубым абажуром, поставила перед Кашиным чайник и откуда-то добыла стаканы, сахар, хлеб и сыр. Антон молча следил за ее ловкими бесшумными движениями, они нравились ему и, если бы не угнетала мысль, что сейчас Рожко заговорит о крестьянском союзе и будет его ругать, он бы наверняка почувствовал себя удобно. Ему была приятна крохотная чистенькая комната, ласкал глаза блестящий чайник. Антон подумал, что прищурься—чайник будет также смешно расти, как самовар в буфете, затопит все зеркальным блеском. На одну секунду он даже в удовольствии зажмурился, но опять вспомнил предстоящий неприятный разговор и пожалел, что сюда зашел.

„А может она не будет меня ругать? Я, ведь, все понимаю“,—подумал он, ловя тоскующими глазами добрую, ободряющую улыбку.—„Конечно не будет,—уверился он,—она... умная!“

— Кашин, я хотела спросить. Вы знаете этого... ну... Невского?

Рожко стояла спиной к Антону, она запиналась, усердно перетирая стаканы.

— Как же, знаю!—обрадовался он такой чужой, далекой теме для разговора.—В волости по продразверстке недавно вместе были. Смешной он..

— Смешной?

— Ну, да. Кисель какой-то, все дрожит, за голову хватается... чудак!

Сравнивая мысленно, Кашин заметил восхищенно:

— Вот Курапов—это человек!

Рожко зачем-то ушла к двери.

— Да?—равнодушно спросила она оттуда.—Тебе он нравится?

— Еще бы! Его, брат, не качнешь! Рабочий человек,—сразу видно.

Рожко промолчала, вернулась к столу.

— Пей, Кашин. Вот сыр... закуси,—угощала она, разливая чай и незаметно для себя переходя на ты.—В накладку любишь?

— Все равно... пожалуй, в накладку,—улыбнулся Антон и, видя, как из тощего кулька в его стакан попадает огромный кусок сахара,—запротестовал:

— Это очень много! Мне и половины слишком... сахар, ведь...

— О! Какой ты экономный! Ну, ну, для первого раза!

Рожко подала стакан и вылила свой чай на блюдце.

— Не умею из стакана пить,—шутила она. — Буду по-деревенски. Как у вас там пьют? Вот так? — Она взяла блюдце, нарочито растопырила пальцы, подула на чай и, смеясь черезчур для нее громко, стала пить, переспрашивая. — Так, да?

— Так...—смеялся и Кашин, простодушно разглядывая ее, замечая красивое платье, на лице слой пудры, распространяющий приторно-сладкий запах. Неожиданно для себя он сравнил ее с молчаливой женой старика Дивногорцева. Что у них было общего, Кашин сказать точно не мог, но что-то было.

Горячий стакан приятно пожигает руку. Кашин не спеша глотает переслащенный чай и ему немного смешна щедрость Рожко. Но тут он вспоминает,—у него на квартире припрятан собственный сахар,—и уж не смешно ему, а стыдно.

Чай—не сладкий, горький, горький чай в стакане Антона... Не допив, он ставит его на качающийся стол, щупает гвозди, которыми неумело скреплены расползающиеся ножки, о чем-то думает.

— Пей, Кашин. Да почему же ты не поешь сыра? Не любишь?

Антон поднимает глаза, они круглы и неподвижны. Рожко чудится, что они мерцают и зрачки по-кошачьи суживаются.

— Нет, спасибо,—глухо говорит Кашин, отводя глаза в сторону, и гладит ладонью шершавый стол... — У меня дома свой есть. Чего я тебя об'едать буду.

— Фу-у, как тебе несовестно! Мы-ж с тобой коммунисты. А у коммуниста своего не бывает, коммунист должен делиться всем.

— Делиться? переспрашивает хрипло Антон и нетерпеливо скрипит табуреткой. — А почему?

— Да потому, что коммунисты.

— Ну, и что же?

— Как так, что же? Это—главное. На чем держится партия?—

На полной самоотверженности. Личное—постольку-поскольку... Все силы, все, что есть—партии...

— А почему?

У Кашина чешутся руки. Он царапает их и исподлобья, не мигая, глядит на Рожко. Ей хочется приласкать этого глазастого, хромого парня с детским „а почему“.

— Слушай товарищ Кашин, что я тебе скажу. Только ты не обижайся. Хорошо?..

„Сейчас начнет ругаться“—тоскует Антон, и ему обидно за себя, за то, что он боится. Презрительно оттопыривая ниж-

нюю губу и, кусая ногти, он следит за Рожко. Пуховый платок свалился у ней с плеча, на открытой шее темнеет бородавка. И, слушая полушопот, он не может оторвать глаза от коричневого пятна.

— Я с тобой о многом хочу поговорить, Кашин. Я знаю от Алексея, что вы до Октябрьской революции организовали советскую власть у себя в волости. Знаю, что ты там был первым председателем. Вы отобрали усадьбу, наделили крестьян землей и имуществом... Вы были правы. Никто лучше вас не мог бы этого сделать! Мне верится, что если-б не жандармы—вы наверняка организовали восстание во всем уезде и, как знать, может по всей губернии... Все это очень хорошо,— за это я уважаю вас... и тебя лично, Кашин. Но послушай, товарищ, помнишь, что ты предлагал на-днях укому? Помнишь?

Рожко заглянула в лицо Антону и ласково погладила неподвижную его руку. И не было сил противиться. Он сказал, кашляя, так как голос перехватило.

— По... помню.

— И знаешь, почему это произошло?

Кашин отдернул руку. „Что за нежности! Ласкает, как сыночка, подумаешь!“

— А почему?—спросил он, еще больше оттопыривая губу, и, достав с окна газету, смял ее комом.

— Ну, вот, ты уже и обиделся,—как-то печально протянула Рожко и глаза у ней страстно заблестели.

„Чего она, какая... такая...—мучился Антон, ему захотелось убежать из комнаты, обругав матерщиной эту дотошную, липучую женщину. Но он не шевельнулся, в чудном оцепенении позволил чужой руке снова гладить его грубые пальцы.

— Потому, Кашин.—говорила Рожко, склоняясь ближе и ослепляя звездным блеском синих глаз, потому, что ты прежде всего малограмотен... политически. И крестьянин в душе,—понимаешь? И тебе трудно... Ты послушай моего совета, милый, я в партии давно состою, еще до революции,—подтяни себя, нажми на политику. Ведь, мы еще только куринный шаг сделали. Все впереди. Тебе нужно...

Хорошо сидеть в теплой комнате за стаканом сладкого горячего чая, слушать волчью мятель и обжигать сознание чудесными новостями, от которых шибче стучит сердце и кровь приливает к щекам, горят они и бывают краснее самого крепкого китайского чая. Забудет ли Кашин этот первый вечер у Рожко, вечер политической мудрости и еще чего-то большего, человеческого, дороже чего нет на свете?!

Рожко утащила его в библиотеку клуба, сама заполнила его читательскую карточку и отобрала несколько книг: „Манифест“ Карла Маркса, полдюжины брошюр Ленина, Троцкого и Зиновьева, с непременно надписями на титульном листе:—„Российская Социалистическая Федеративная Совет-

ская Республика“, и еще: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ И эти слова, давно знакомые Кашину, нынче понимались им совершенно по новому.

Отрыла Рожко экземпляр В. Гюго „Тысяча семьсот девяносто третий год“—издание 1898 г., потрепанный, подклеенный с перепутанными страницами.

— Это тебе на заглядку, — смеялась она.—Интересная штука, вот увидишь!

Они простились на лестнице, держась за перила, вдруг переставшие быть холодными и скользкими.

Спускаясь, Антон оглянулся и видел, как Рожко следила за ним, кутаясь в пуховый платок. И была она наверху лестницы такой маленькой и худенькой, что Антону стало ее жалко.

— А рука-то, что обожжена, не болит?—спросил он.

— Нет, не болит.

— А знаешь что?—тогда крикнул он, вспомнив:— Я тебе стол-от почию! Ей-богу,—я, ведь, когда-то столярничал...

V.

Кашин не верил в чудеса. Только один раз он было поверил в бога, надеясь через веру апостола Василия с молитвами и трезвостью скопить деньги на дом. Вера обманула цыганом-барышником, подала вместо долгожданного богатства кукиш и горькое сожаление о потерянных понапрасну днях. Может быть, отсюда и пошло недоверие Кашина к людям, тупое, ничем не оправданное недоверие. Он мог на время поддаться горячему впечатлению, мог в минуты, когда чужой человек глядит в глаза, поверить ему и согласиться с ним. Но потом, наедине он смеялся над собой, отрекался от слов, только что сказанных, и жил прежний, недоверчивый, своим умом, пусть плохоньким, но своим собственным.

Беседа с Рожко, откровенная, полная чудесных вещей, никогда не слышанных Антоном, согретая синими глазами и мятежной ночью, предстала утром в исковерканном и смешном виде. Не верилось, что вот он, Кашин, поддавшись бабе, расчувствовался, сам по сороочи наболтал про себя, про свои дела.

— Дурак... Как был дураком, так им и остался! Развесил уши-то. Эх, деревенщина!—издевался над собой Кашин, решая никогда больше не ходить в маленькую приветливую комнату клуба.

Недоверчиво усмехаясь, он перелистал книги, взятые в библиотеке, и засунул их в грязное белье, лежащее под кроватю. Но тут ему стало стыдно, он понял, что мстить Рожко—глупо. Он переложил книги в шкаф и, копаясь на полках, невзначай нашел спрятанный сахар. Ему захотелось напиток

чаю с собственным сахаром, бережно хранившимся вторую неделю. Не устояв перед соблазном, сходил на кухню, добыл кипятку и пил кружку за кружкой, безжалостно истребляя синеватые куски сахара.

В этот день ему позвонила Рожко. Шутливо спросила, выпался ли он после вчерашней беседы и, как другу, поведала новость: в упродком сегодня крестьяне доставили почти пять тысяч пудов хлеба.

— Значит, мы около десяти насбирали! Ты понимаешь, как это замечательно? Если так и дальше пойдет дело, мы с небольшой отсрочкой выполним все пятьдесят. Недурно, не правда-ли?.. Ну, что-ж ты меня не поздравляешь?

Опять Антону хотелось по-матерно обругать назойливую женщину. И опять захватило оцепенение — не пошевелишь языком.

— Ты придешь ко мне сегодня?

— Не знаю.

— Ну, вот еще... Приходи, я буду ждать. И знаешь что, захвати с собой „Манифест“, книжечку ту, в зеленой обложке. Вместе прочитаем... Идет?

Кашин скрутил телефонный шнур и дернул его, точно хотел оборвать; шнур не порвался, и он сказал:

— Ладно.

И действительно, вечером пошел, уверяя себя, что идет лишь потому, что дал слово, а вообще ему не хочется, что это последний раз. На полдороге почему-то уже представил себя в комнате Рожко за поломанным столом, со стаканом чая в руке; он задержался и повернул обратно. Из шкафа достал сахар, положил в карман большой кусок, подумал и прибавил еще два. Затем, преодолевая неловкость, попросил у прислуги Дивногорцева немножечко столярного клея. Стойко снес ее презрительный взгляд, противное шуршание юбки и, получив требуемое, пошел к Рожко, насвистывая песенку, почти не хромая.

Кашин не знал точно, за что борется коммунистическая партия, членом которой он был. Его представления о партии и советской власти, втолкованные митингами с полуграмотными ораторами, не шли дальше понятий: „власть рабочих и крестьян, земля — крестьянам, фабрики — рабочим; большевики — за мир, за землю, за хлеб.“ Он не задумывался над этими фразами, а просто повторял их, заученные раз и навсегда.

Никогда Антона не спрашивали: знаешь ли ты, что делаешь? Пожалуй он и обиделся, если бы спросили. Конечно, он знает, раз его сделали ответственным работником. Казалось, чего проще: живи, работай, дави богачей, беднякам всякую помощь оказывай, выколачивай продрозверстку, — и все будет хорошо, так, как надо. Однако, случай с крестьянским союзом показал ему, что где-то есть незаметные границы, переступив

которые, помогаешь не тому, кому хочешь. И он испугался этих тонкостей, испугался своей первой ошибки и, как знать, может побаивался—вдруг вышибут его из земельного отдела. Может потому-то и пошел он к Рожко, надеясь исправить ошибку, научившись различать свое от чужого, правду от хитрости.

Но если это было и так, то, слушая Рожко, он позабыл страхи и, пораженный открытиями, не хотел знать, кроме их, необыкновенных и в тоже время поразительно простых.

Рассматривая колыхание пухового платка, прислушиваясь к мягкому женскому голосу, не раз думал он—„почему я сам не мог дойти до всего этого?“—и ему казалось: подумай раньше и он-бы догадался, и сказал себе точь в точь тоже, что говорит Рожко.

Рожко часто облизывает кончиком языка губы, они становятся серыми, с жалкой окраской только в углах. Она забыла вероятно попудриться и возле глаз и в некрасиво-красных углах губ шевелятся трещинки. Говоря, она хмурит брови, отчего на висках сбегаются в узелки ниточки морщин, и тогда лицо ее выглядит старческим.

Антону нет никакого дела до того, как выглядит Рожко. Он не чувствует в ней женщины, ее лицо для него давным давно перестало существовать, оно расплозлось, стало неясным, и лишь блестящие глаза, от голубого абажура ставшие совсем темными, заметны ему. И кажется, это они раскрывают перед Антоном тайны, потерявшие дьявольскую трудность. Все понятно, все так просто.. Он не сделает больше ошибок!

Он ушел от Рожко поздно ночью и дорогой повторял очень понравившуюся начальную строку „Манифеста“:—„Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.“ И видел его красным великаном до неба, шагающим через поля, леса, города, давящим на своем пути буржуев.

— Призрак бродит по Европе... призрак коммунизма!—шепчет Кашин на разные лады и незаметно для себя перелаживает слова—в песню, на знакомый мотив—„солнце всходит и заходит“. Запрокидывая голову в черное звездное небо, где облака раскинулись роскошным веером, за которым пряталась луна—городская красавица, Антон мурлыкает:

При-израк бро-одит по Ев-ро-опе.

При-израк ко-мунни-зма-а-а...

Да эх, да э-эх...

При-израк ко-ому-ни-зма-а...

Придя на квартиру, Кашин тотчас схватился за „Манифест“, словно боясь, что завтра он передумает, и стал дочитывать книгу вслух, близко подвинув к себе лампу. Читать ему было трудно, строки с непривычки разбегались, особенно,

на переносах, многие непонятные слова и целые фразы никак не хотели даваться сознанию. Он повторял их, перепутывая ударения, с упорством заучивал, как молитву. Вспомнив совет Рожко—записывать непонятное, — он немедленно отыскал бумагу, карандаш. Дело пошло быстрее.

Кашин читал около двух часов, одолел страниц десять и, поймав себя под конец в полусне склонившимся над книгой, решил что на сегодня хватит. Ложась спать, не утерпел, чтобы не заглянуть на последнюю страницу, и в величайшем удовольствии прочел: „Пусть господствующие классы содрагаются перед коммунистической революцией. Пролетарии могут потерять в ней только цепи. Приобретут же целый мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ „Вот откуда лозунг-то наш!—поразила Кашин.—Здорово написано!“

Кутаясь в одеяло, опять повторял понравившуюся фразу: „Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма“, давая себе слово, утром, как только встанет, дочитать книгу.

VI.

На другой день он проснулся поздно и, к удивлению прислуги Дивногорцевых, снова пришел на кухню за кипятком.

— У нас кипятку квартирантам не полагается!—сердито крикнула она, загораживая самовар кривым телом.—Идите в ваши столовки чай пить!

— Да мне немного, только одну кружечку,—не смутился Кашин.—Ну-ка, пусти.

— Кру-ужечку!—ядовито сморщилась старуха.—Достань самовар и грей сам сколько хошь. Не дам!

И ловко подхватив самовар, почти не сгибаясь, понесла его вон из кухни.

— Да ты с ума сошла?!—вспыхнул Кашин и, догнав в дверях кухни, схватил за плечо.—Дай кипятку, тебе говорят!

— Антихрист!—зашипела старуха—и вдруг, с нестарческой живостью повернула голову и через плечо, с наслаждением, плюнула в лицо Антону.

— Вот тебе, антихрист!

Кашин только на секунду выпустил костлявое плечо, потом сдавил его пальцами и размахнулся кружкой.

— Боже мой, бабка!

В дверях стояла перепуганная жена Дивногорцева. А Кашину показалось, что там стоит Рожко.

Он опустил кружку.

— Я... ничего...—пробормотал он, ощущая на щеке расползающийся плевок и стыдясь вытереть.—„Может она и не видала,“—подумал он.—Я... так.

И ушел, небрежно играя кружкой.

Очень скоро в его комнату постучали.

„Ага, испугалась, кривобокий чорт! Ну, стой, я тебе покажу. Будешь у меня в ногах валяться“, — злорадно подумал он, не подавая голоса, и плевков снова полз по щеке.

Еще постучались и, наконец, медленно открыли дверь.

— Как ты смеешь входить без...

И замолчал.

В коридоре стояла жена Дивногорцева с чайником. Антон неловко извинился. Дивногорцева молча протянула чайник.

„Не хочешь со мной разговаривать—и на плевать,—подумал он,—а чай-то, все-таки, сама принесла!“ Он взял чайник и заглянул ей в лицо. Ему показалось, что у ней дрожат губы от смеха. Антон хлопнул дверью и запер ее на крючок.

Читал „Манифест“. Но сегодня он показался ему не таким интересным, как вчера, и ужасно трудным. Кашин отложил книгу и раскрыл Гюго...

В тот день напрасно ожидали ходоки заведующего земельным отделом. Он на службу не пришел, и всезнающий востроглазый секретарь под конец занятий им пояснил, что товарищ Кашин немного болен и будет завтра.

А Кашин на постели, глотая рваные, замасленные страницы, грезил Говэнном, ненавидел маркиза де-Лантенака и все ждал, что вот-вот его поймают, и сердился на дурака Тельмарка.— Попрошайку, ни за что, ни про что отпустившего живым злодея-маркиза. Антон уже не записывал непонятные слова: Конвент, 9-е термидора, якобинцы, гора, а просто их пропускал. Не задерживая в памяти. Его смешили странные, длинные фамилии: Антуан-Луи-Леон, Флорель-де-Сен-Жюст, Левассер-де-ля-Сарт,—и были сказочны Робеспьер, Дантон и Марат. Но все это шло стороной, не это было главное. Его увлекли события, он вдруг позабыл, что читает книгу,—он сам стал участником походов Говэна: он ловил проклятого старика, он был первым в сражениях и он же, вместе с матерью, горевал о потерянных детях, торопил ее бежать к замку и все боялся, что она опоздает.

На один миг Антон оторвался от книги, чтобы зажечь лампу, но и этот миг он прожил с сержантом Радубом.

Бежали часы... На смену вечеру пришла ночь с первыми горластыми петухами. От непривычки к такому долгому чтению у Кашина шумела голова, резало глаза.

Когда загорелась башня и дети любовались огнем, не понимая, что наступает смерть, Антон разжалобился и прослезился. И это он в бешенстве полез по уступам каменной стены. „Де-Лантенаку не будет пощады! Смелей, ребята! Говэн, где Говэн?.. Не плачь мать, Кашин спасет твоих детей! Ну, держись, колдун!“

...Дети спасены стариком, он сам отдается во власть Говэна-Кашина. И вдруг Антон не чувствует к нему ненависти. Он видит спокойное лицо и серебрянная борода ему приятна.

Это не маркиз, а Дивногорцев, связанный веревками, лежит на койке в чека и гордо говорит:

— Уйдите я спать хочу.

С непонятной жалостью Кашин идет вместе с Говэном к маркизу. Он не знает, что там сделает доброму старику, но странно, когда Говэн помогает Лантенаку бежать,— ему кажется— это его мысль, он подсказал Говэну; и плачет, зная, что теперь уж герою не миновать смерти. И тут же верит— Говэна не казнят, и так хочется подарить жизнь смелому, честному Говэну, что последние строки книги кажутся не концом.

Антон ищет желанный счастливый конец, ищет по коркам книги вновь живого Говэна, даже думает:— „Кажись, конец в книжке вырван“. А потом, убедившись, что Говэн казнен и это действительно конец романа,— он не вдруг закрывает книгу и долгие минуты разглядывает в последний раз упоминающееся дорогое сочетание букв: Говэн.

Кашин хотел передать Рожко все, что он перечувствовал, читая Гюго,— у него ничего не получилось. Не было нужных слов, да и смешными казались мысли. Потом, наедившись он раздумался над судьбой Говэна и старика. И тогда, холодный и рассудительный решил, что он, Кашин, не отпустил бы живым маркиза. Антон пожалел Говэна и ему захотелось быть таким-же смелым и честным, как Говэн, только без милосердия.

VII.

Антон стиснули на скамье, кто-то, наступив на больную ногу, сморкаясь и кашляя, встал впереди и заслонил все кислой шубой. Было жарко, и, как в бане, шипело и гудело в ушах.

— Пора начинать! Что же они не начинают?!—волновался сосед слева, набивая махоркой трубку. Он чиркнул спичкой и, пососав, наклонился к Кашину.—Правда-ли, товарищ, что нынче будут судить военкома?

— Не знаю.—сухо ответил Антон, перенося обиду с кислой шубы на соседа. Он встал, вместе с ним поднялись барашки махорочного дыма, и за столом президиума Рожко незамедлила крикнуть, звеня о графин стаканом.

— Кто там курит? Поговорите, товарищи!

Длинный зал совдепа освещался одной настольной лампой. И хотя Рожко часто припускала фитиль, лампа горела тускло, бросая неровный желтый свет только вокруг стола и на передние скамьи, густо унизанные людьми. Конец зала тонул в темноте, и не разберешь: пусто ли там, как в обычные вечера, или скамьи, натасканные со всего дома, громоздились до стены.

Кашин выбрался к проходу, разыскивая свободное место поближе к президиуму, и, не найдя, полез в темный конец зала, держась стены, чтобы не запнуться. Неожиданно ряды с сидящими людьми оборвались. Антон нащупал у стены конторку и, не долго думая, подпрыгнул. Уселся поудобнее и, распахнув шубу, огляделся. Теперь он увидел, собрание не так уж многочисленно, как это казалось ранее. Он насчитал всего 10—12 изломанных линий голов и, прикинув, определил собрание в сто человек.

— Немного же нас!— подумал он и тотчас же с удовольствием повторил врезавшиеся в память слова Рожко:— „Партия—авангард класса. В коммунистическую партию входят самые лучшие, передовые рабочие и крестьяне“. С любовью погладил он глазами плешивые и курчавые колеблющиеся головы и представил себе партию, разбросанную по городам и деревням, растянувшуюся, как обоз по шоссе, без начала и конца.

— А ведь нас много, ей-богу!— решил Антон, усмехаясь, и удивленно качнул шапкой.— Сколько городов и волостей.. и везде партия!

Он еще раз пробежал по скамьям, точно проверяя свой подсчет, и на этот раз собрание ему показалось совсем не маленьким. Люди сидели плотно, сбитые плечом к плечу, цепляясь друг за друга, как звенья огромной, причудливо упавшей цепи. Ее можно тянуть, как хочешь, она будет звенеть, но не оборвется.

„Кольчику по кольчику,— вот тебе и партия.. И я—кольчику, и Рожко—кольчику, и Курапов.. много колец.. цепь! —“ Кашин заерзал на конторке, ему вдруг захотелось озорничать;— крикнуть, засвистеть, нарушить порядок и монотонный гул

Президиум занял места за столом, покрытым красной материей. Рожко огласила повестку дня.

— Первый вопрос, товарищи, текущий момент, второе—разное. Какие замечания?

Собрание молчало.

— Нет замечаний? Принимается?

— А-а... во ..военком?— нерешительно спросил кто-то, заикаясь.

— Что?

— О военкоме? Да, да. О Сергееве!— крикнуло несколько голосов и в их поспешности послышалось разочарование.

— О военкоме Сергееве— вопрос будет в разном.

Собрание опять помолчало. В настороженной тишине решительно предложили:— поставить вопрос о военкоме первым, а доклад вторым.

— Вторым!— подтвердили некоторые, шевелясь и перешептываясь.

Рожко дернула плечом и переглянулась с Кураповым. У ней свалилась коса; поправляя ее, Рожко наклонилась и что-то сердито прошептала Илье; он ответил односложно, разглядывая свои часы.

— Товарищи, вопрос о военкоме—вопрос второстепенный. Президиум предлагает обсудить вначале текущий момент. Нет возражений? Нет!

— Есть!

— Нет!—Рожко пристукнула карандашом.—Слово по текущему моменту предоставляется товарищу Русакову.

Этот плешивый, круглолицый жизнерадостный старикашка не нравился Юрию Васильевичу. Он ненавидел пьяниц, а от Русакова вечно пахло спиртом, и сизый, с красными, четко проступающими жилками нос, как бы являлся постоянным немым свидетелем спиртных таинств заведующего отделом народного образования. Кроме того, Русаков имел скверную привычку, воображая себя начальством, соваться в чужие дела, то требуя от Юрия Васильевича каких-то отчетов, то поучая его, как новичка, в тонкостях политпросветработы. А самое скверное—Русаков любил похабные анекдоты, знал их кучу, рассказывая где попало, и от других хотел знать новые, брызгая слюной повторять занозистые местечки и хихикать.

„Развратный, слюнявый старикашка!“—Юрию Васильевичу противно слышать из толстых похотливых губ революционные фразы, видеть молодцевато-задорный выгиб плеч. Ему все казалось, что Русаков непременно забудется и вместо доклада о текущем моменте расскажет, посапывая носом, сальный анекдот. Он отвернулся и, протерев пенсне, принялся разглядывать собрание. Кривые валы голов зыбко качались, и перешептывание робким утренним прибором бежало с первой человеческой волны на вторую, третью и замирало в темном конце зала, вспыхивая напоследок огненными брызгами цыгарок.

— Всем, всем, всем... Советские войска вступили в Киев, — зачитывал из газеты Русаков, подняв указательный палец вверх и краснея от натуги торжественного баса. Ему верно хотелось, как можно раскатистой прочесть замечательную выдержку и никак не удавалось, — голос срывался с низких бархатно-праздничных нот на хриплое собачье подвывание. Тогда он просто стал оглушительно лаять слова, с длинными паузами, вкладывая в последние значительный смысл.

Юрий Васильевич ловит себя на том, что он прислушивается к выкрикам Русакова и мучается вместе с ним над проклятым недающимся басом. Он сердится, снова отворачивается от докладчика и обводит взглядом скамьи, ловит перешептывание и покашливание и ему становится обидно уже не за себя, а за Русакова.

Да какое-же это собрание коммунистов? — ужаснулся он. — Ответственный момент: фронт, разгром революции в Германии, а им хоть бы что! Какая-же это партия?! — по обыкновению обобщил он. Невскому вдруг хочется, чтобы это было не так, хочется найти допущенную ошибку, ему страшно от мысли, что это действительно не партия, а какой-то сброд людей, совершенно случайно попавших на коммунистическое собрание. И он роется в лицах.

С боку, первым от Невского сидит, пыхтя и позевывая, толстый зав. финотделом. До революции его Юрий Васильевич встречал в церкви регентом. За ним скрючился щупленький, остроносый почтовик, ему на ухо что-то шепчет, беззвучно хохоча, рыжебородый. Где видел Невский эту рыжую пушистую бороду?.. Ах, да, в земстве. А кто там чистит ногти спичкой? Неужели пьяница — фотограф Кременчук? Конечно, он, приятель сапожника Никодима, вон развалился тот, подняв колени на уровень головы. А кто заснул в углу, надвинув на глаза каракулеву шапку? Каракулевы шапки.. Их много было в церковные праздники на бульваре, на лавочках возле прибранных домиков..

— Ага! — торжествует Юрий Васильевич, и ему уже не страшны свои обобщения. — Мещане! Теперь мне понятно, почему вы требовали первым вопросом поставить дело военкома. Обывательщина, падкая, липучая до грязных историй, обывательщина! Радуйтесь преступлениям военкома, заплюйте его и отомстите за поруганное мещанское благополучие.. Мерзавцы!“

Юрию Васильевичу приятно сознавать, что он не из таких, ему почти совсем не интересна история с военкомом. Он, Невский, из тех не многих, честных, преданных душой и телом революции коммунаров Их не много, но погодите, они вышибут мещан из партии!..

Хотя Антон и внимательно слушал доклад Русакова, он многое не понял. Пока шел вопрос о белых и красных фронтах — еще ничего, но лишь Русаков начал говорить о германской революции и ее поражении, — Антон запутался в правительстве Макса Баденского, в социалистах большинства, в независимых. Он пробовал наощупь, в темноте, записывать непонятное, чтобы потом задать вопросы докладчику, — непонятного оказалось так много — не запишешь. Русаков точно в насмешку, выгибая плечи и грудь, живо-живо бегал возле стола, грозил кому-то кулаком и засыпал ворохом новых названий: Либкнехт, Ледебур, Носке, коалиция, демократия..

„Ну и сволочь! — обиделся Антон, грызя карандаш. — Хоть-бы разок пояснил! — Он разозлился и бросил писать. Захотелось чем-нибудь насолить докладчику. Он перебрал в памяти свои новые знания и припомнил: Рожко говорила, что часто люди путают определение коммунизма и социализма, понимая

под ними одно и то же. „Наверное, и он не знает, трепач! — обрадовался Кашин. — Ну, постой, запрыгаешь у меня“.

Чиркнув спичку, аккуратно вывел на лоскутке бумаги: „Какая разница между коммунизмом и социализмом... — подумав, добавил, — и почему? А. Кашин“. Скатал в трубочку и, соскользнув с конторки, сунул записку ближайшему соседу.

— В президиум, — докладчику, — важно пояснил он и видел, как взлетали руки, передавая записку. На последней скамье она задержалась.

„Неужели не отдадут в президиум? — волновался Антон. — Чего они там разглядывают?“

Поднялась рука и записка порхнула прямо в платок Рожко. Антон отлично видел, как раскатала Рожко бумажку, прочла, улынулась и погрозила пальцем.

— Дура! — прошептал Антон и укусил карандаш.

Русаков кончил доклад, ему похлопали. Рожко отдала записку Антона и спросила, есть ли еще вопросы.

Кашин занялся шапкой, у ней лопнула в одном месте подкладка и вылезла некрасиво вата. Почему-то захотелось сейчас же заправить вату, он увлекся этим и, кажется, не слышал, как Русаков, в тяжелой тишине, быстро и отчетливо дал разницу между коммунизмом и социализмом, присовокупив, что вопрос в общем и целом не по существу.

— Есть предложение, — сказала Рожко тихо, но ее понял каждый, — есть предложение сделать небольшой перерыв... для куренья.

Тишина лопнула, собрание зашевелилось, — казалось, все обрадовались возможности свободно передвигаться, курить и разговаривать.

— Не надо! — крикнули вдруг на передней скамье, точно сговорившись.

— Не надо! — подтвердили на второй.

— Кончать собрание без перерыва! — отозвались задние.

— Курящие обожгут.

— Значит, переходим к следующему вопросу, — сказала Рожко, — о военкоме Сергееве. Информация товарища Курапова...

IX.

Сергеев, сидя в чека, часто думал о том, как его будут судить. Он представлял себе здание губернского суда (почему-то казалось, его дело в уезде решиться не может), высокую скамью для подсудимых и по бокам — ребят конвоиров. Скажут: „Суд идет“, все встанут, и он должен будет встать и перед тысячеглазой толпой рассказать без утайки свою жизнь и преступление. И судья будет копать в его поступках, как в навозной куче, выволакивая на свет самое отвратительное, и все будут глядеть на него, как на голого

урода, и в тысяче глаз он прочтет страшное человеческое презрение и приговор. Думая так, Сергеев чувствовал стыд, ему казалось, что он не вынесет пытки и наделает на суде глупостей.

А вышло все удивительно просто. Алешка сказал, что его вопрос по предложению губкома и разбирается на общегородском партсобрании. Он сперва не поверил, даже подумал: уж не пришел ли приказ без суда расстрелять его, и не думают ли они обмануть его, вывести за город вечером, чтобы никто не видал. Но он так сжился с мыслью, что его не расстреляют, что тут же оставил подозрения и пришел на собрание с радостью: приятно было видеть братву и совсем забылось, что братва эта будет его сегодня судить.

— Курапову сорок одно с кисточкой! Э, Рожко, мое почтение!.. Как поживаешь, Роман Платонович?

Он по привычке протянул руку Илье и неожиданно заметил — Курапов смотрит на него грустными глазами.

— Здравствуй! — говорит он и в рассеянности не видит протянутой руки. Не пожимает руки и Чекалов, молча приветствуя кивком головы, одна Рожко, спеша, ловит его ладонь, улыбается и что-то шутит.

„Братишка, а почему руки не подаешь? Неужели я...“ — хочется крикнуть в обиде Сергееву. В горле колет, он чувствует, что не выговорить, и еще чувствует — он пришел не на собрание — на суд, и судить его будет Курапов.

Он стоит, ему холодно, он потирает руки, гладит усы и беспокоится. „Позабыл побриться, какой же я, право!“ И не знает, что ему делать дальше.

— Куда... сесть-то мне?

Илья пристально разглядывает часы, на его лицо падают желтые полосы света и морщины на лбу кровенятся ранами.

— Садись, куда хочешь...

Он сознательно выбирает самый темный угол позади президиума, садится, стараясь не шуметь, поднимает воротник шинели.

Черная пропасть зала мигает сотнями звездных глаз, они сверкают холодным блеском. „Все судить пришли... Эх, братва!“ — тоскует военком, и ему хочется дружеского слова, маленькой ласки. В мерцающей мгле проплывает жена с причудливой прической пышных волос. У ней капризно морщатся крохотные губы, как теплая расплзающаяся капля крови, и на матовом виске голубеет жилка. У него нет к жене злобы, нет и жалости. Хорошо бы сейчас выпить стаканчик спирта, согреться и подвинтить пустую, неловкую голову...

Сергеев был очень рад когда его вопрос поставили вторым. Он с наслаждением слушал вести с фронта и, погружаясь в дремоту, — взлетел на Любку, привычно поласкал за растрижненное ухо.

— Не балуй, сука!

Любка стрельнула ушами, словно говоря: „И без тебя знаю не суйся, пожалуйста“, — презрительно вскинула зад и рванулась. В утреннем тумане залилось кровью солнце. За лесом надрывался пулемет, хлопали вразброд винтовки.

— А-а-ррр-шш! — пропищал Козырь, щетинясь маленьким горбатым ежом, и свиснул длинной саблей. И сзади его свиснул вытасенными шашками весь эскадрон. Ветер обжег глаза. Сростаясь с Любкой, Сергеев потерял время и пространство...

Хохочет, заливаясь пулемет, глухо, филином ухает тяжелая батарея и не спереди — с боков, сзади — горят красные околыши.

— Балда! — плачет Козырь. — Беляки лесом обошли!

Сергеев треплет любкино ухо, оглядывается на эскадрон и орет, размахивая маузером:

— Застрелюсь, ежели не выьем!

— Арр-шш... — пищит и плачет Козырь, и сабля над его головой горит свечой.

Туман и кровь...

„Что там говорит Курапов?.. Губком предлагает... обсудить его поступок?.. Братишки, фронт... на фронт пошлите! — тоскует военком и, осмыслив это, — радуется. — Ну, да... На фронт! Они меня пошлют на фронт. Козырь, мы еще повоюем с тобой, горбатый чорт!“

Рожко зовет Сергеева к столу. Алексей уже кончил читать дознание, ему хотят задать вопросы.

Военком снимает шинель, сейчас ему тепло, усы шевелятся в улыбке. Он встает и в звоне шпор, крепко обтирая ладони, веселый и помолодевший, идет на зов. Пожалуйста, задавайте вопросы, военкому не стыдно, он все расскажет, пожалуйста...

Юрию Васильевичу не понравился веселый вид военкома. Он хотел бы его видеть печальным, кающимся человеком. Он — преступник перед судом. А разве преступники на суде улыбаются? „Глупый, глупый, ты травмишь мещан! За каждую твою улыбку они жестоко отомстят“.

Не одобрил он и ответы военкома неторопливые, обстоятельные, как докладчика. „Зачем подробности? Чем меньше подробностей — тем большего снисхождения заслуживает преступление“.

Изучая лицо Сергеева: блеск наивных оловянных глаз, вздрагивание пушистых ласковых усов и хлопанье толстых добрых губ, то и дело разбегающихся в обыкновенную улыбку, — Невский пришел к выводу, что несчастный и не представляет себе, как отвратителен поступок, совершенный им, и какая расплата его ждет.

Умножая обиду на собрание, Невский мысленно придирался к вопросам, которые, после приличного молчания, наперебой задавались Сергееву. „Какое дело вам до его отца?“

Ведь, вы не отца судите! И не при чем возраст... может вы еще цвет волос спросите?... Ну, да, с которого года он в партии, был-ли на фронте и кем, — все вам надо знать. Что-о?... Не воровал-ли он раньше? — Ах, подлецы! — возмущился Юрий Васильевич, прискакивая на скамье.

— Ах, подлецы! — прошептал он в слух.

— Действительно, подлец! — любезно поддакнул сосед, не расслышав. — Такая наглость, еще смеется. Вы замечаете, что он...

Невский одарил соседа бешеным взглядом, ему хотелось, схватив за глотку, заставить его замолчать. Он бы, наверное, что-нибудь в этом роде и сделал, но тут посыпались военному вопросы о жене: правда ли, что она дочь генерала, что он ей покупал на красноармейские деньги наряды, — и Юрий Васильевич, растирая голову, не вытерпев, крикнул президиуму.

— Призовите собрание к порядку! Это чорт знает что такое!

— Надо выяснить все, — строго сказала Рожко. — Какие еще есть вопросы?

Невский совсем не думал выступать, даже после ехидных вопросов, он надеялся, что и без него найдется человек, который укажет правильный путь к искуплению. Кроме того, он думал, что дальше унижительных вопросов обывательщина не пойдет, не посмеет пойти. Но, боже мой, что он услышал! Мещане оказались смелыми и настойчивыми. Завфинотделом скороговоркой выпалил обиду, что они голодают, что им жрать нечего, а тут какие-то бандиты грабят трудовой народ.

— Вор! Вор! Вор! — виждал он, раскачиваясь и утирая потное лицо рукавом кожаной тужурки. — За воровство — убить мало!

И чахоточный почтовик, покашливая и вытягивая шею, вторил ему, жадно дыша гнилыми легкими и хватая воздух скрюченными пальцами. Какой-то старик с голым, фарфоровым черепом пытался разжалобить собрание, — его осмеяли. Это был прямой вызов Юрию Васильевичу, и он принял его, сорвав песню.

— Слова! Прошу слова!

Какое наслаждение пролагать себе дорогу к президиуму, без стеснения наступаая на чужие ноги! У стола растегнуть пальто, снять шапку, помолчать и, поймав сотни глаз, связаться с ними невидимыми нитями, кашлянуть и оглушить собрание необыкновенной речью...

О, они не посмели смеяться над Юрием Васильевичем! Слишком резко говорил он, слишком прямо. И пусть карикатурна была его фигура, пусть часто он растирал бритую голову, терял очки, близоруко щурясь. — никто не решился открыть рта, его заткнуло презрительное, уничтожающее слово:

— Мещане!

Это была блестящая речь. Никогда Невский не говорил так страстно и искренно. Он хлестал направо и налево, он издевался над „справедливостью“ самых несправедливых, он дразнил, как собак, и когда они, глухо и бессильно рыча, вертели задом, — бил больно по голове. Казалось, вот, вот собрание заскулит и завилает хвостом... „Военком, ты спасен, они не посмеют утопить тебя! Военком, мы их утопим!“

— Ваше время истекло... товарищ!

Кто там мешает? Юрию Васильевичу нужно только пять минут и он покажет путь к искуплению. Сейчас заскулит собака..

— Кончайте, товарищ!

Он оглядывается. Рожко стоит за столом и стакан в ее руке готов отвратительно зазвенеть. „Милая, — хочется крикнуть Юрию Васильевичу, — разве ты не видишь, что я“...

Да, она ничего не видит. Ее глаза полны ненависти. Ненависть ослепила, она бьет через край, попадает на руки, — маленькие пальчики хватают графин, стакан брызгает звоном, и в звоне течет бесконечный гнев. „Я ей напишу сейчас записку, — думает Невский, — я ей напишу: я знаю почему вы меня ненавидите, но клянусь вам — это не правда... Я докажу“.

Он комкает речь, тускло мямлит что-то о снисхождении и боевых заслугах, запинаясь и скорбно сжимает губы.

Он идет на свое место вялый, Сергеев провожает его добрыми, веселыми глазами. „Они пошлют меня на фронт! Этот молодчага не успел только внести предложения, ему помешали. Но он его внесет... Эге, да он уже пишет? Ловко!“

Сергеев с силой трет ладони, они горят, и записка горит-летит по рукам, и вот — она у Рожко... Но почему Рожко рвет ее на маленькие, маленькие кусочки? Значит это не предложение? Предложение рвать нельзя, предложение надо голосовать.

Военком тоскует в углу. „Теперь одна надежда на Илью. Он выручит, вон он встает, лохматая головушка! Сейчас он скажет: послать сукина сына на фронт..“

— Вору нет места в наших рядах!

Да... Было... Сергеев помнит: вихрястый ординарец Мишка украл сапоги и бабьи безделушки. Мишку поймали и привели строгие седобородые станичники.

— Миш-ка! Что ты наделал, гадина? — рыдает Козырь и сдирает с любимца шапку. — В расход пойдешь! Ах, Мишка!

И Мишка воеет, жадно хватается за полу козыревской шинели, рвет на себе гимнастерку.

— Не буду, братишка... Не надо в расход.. Не буду!

— Уйди с моих глаз, падал пахучая! — пищит Козырь и размазав кулаком слезы, бьет Мишку нежно по голове.

За станицей, у реки, с Мишки снимают сапоги понятия-станичники, он визжит и кусается. Его пристреливают.

— Ах!— корчится в кустах Мишка. — Мне больно. До... бей! Военному жалко Мишки и он разряжает маузер.

— ...Я предлагаю исключить из партии и передать дело в суд.

Сергееву холодно. Он бродит сзади президиума, глядя коченеющие ладони Бормочет: „Исключить из партии и передать... Это меня? А на фронт? Почему меня нельзя на фронт?“

Военком натывается на Алешку. Тот, скинув шинель на стул, стоящий рядом, дымит папиросой. Он притворяется, что не видит военкома, — он просто не хочет пожать его руки. „Почему, братишка?.. Ну... ну и наплевать, мне холодно.. Я шинель одену“. Сергеев машинально разглядывает алешкину шинель, в складках ее торчит кобура.

— Голосую... — равнодушно говорит Рожко, позванивая стаканом. — Кто за то, чтобы исключить...

„Как много поднимается рук! Да руки ли это?.. А-а, это эскадрон обнажил шашки! Ну, будет потеха!“

— ...Разбили! Утека-ай! — плачет Козырь, и сабля его свисла хворостиной к ногам коня.

— Разбили? Застрелюсь!!!

Любка храпит, пляшет задом, а маузер, как на грех, застрял в деревяшке. В гневе бьет военком лошадь.

Ба-луй, с-су-ка!!!

Этот жадный звериный крик слышало все собрание. Алексей оглянулся, свалил шинель со стула и ахнул: военком рвал его кобуру. Алексей уперся локтями в ручки кресла и прыгнул.

Но еще быстрее Сергеев освободил наган, ткнул им в рот и нажал спуск.

Х.

Вопрос о военкоме Сергееве для Кашина не имел особого значения. Близко он военкома не знал, встречался с ним раза два в укоме, и когда узнал, что он украл красноармейские пайки, принял эту весть, как чужое, постороннее дело. Обсуждение поступка военкома ему было не интересно и после доклада Русакова Антон даже подумывал уйти с собрания, — он совсем почти не спал последнюю ночь, зачитавшись заманчивой книжкой до одури. Тепло и неподвижность разморили, и его клонило ко сну

И он не ушел лишь только потому, что вспомнил: в разном будет поставлен вопрос об организации политического кружка при клубе, об этом ему говорила Рожко накануне, а все, что говорила Рожко, было интересным. Он остался торчать на конторке, позевывая и забавляясь своей рваной шапкой.

Задремав, Антон не расслышал первой информации Куропова по делу военкома. В полусне он гадал: запишут ли его

в политический кружок и кто будет его руководителем: Рожко или Русаков. „Наверняка, Рожко, это ее мысль — кружок создать. Да Русакову против нее и не выдержать, какой он руководитель! — лениво думал Кашин. — А что на мой вопрос ответил, так это .. ему, поди, Рожко же и подсказала. Она молодчина, все знает!“

Он отыскал ее за столом президиума, маленькую, зябко кутающуюся в пуховый платок, и невольно поймал ход собрания.

— ...Он зачитает сейчас дознание, а затем будем обсуждать. Нет возражений? — Рожко выждала минуту, села и стала еще меньше. Она выпила воды и повернулась к чекисту Алексею. — Ну, давай дознание!

„Дознание?... Да, ведь, это суд? Кого же судят? — дивится Кашин и вдруг чувствует какое-то странное беспокойство. Его задавила мертвая тишина собрания, неизвестно когда родившаяся. Разглядывая неподвижные, словно выбитые из камня, кривые линии голов он вспомнил сельский сход в Краснознаменной волости, такой же каменный. И это сходство неприятно укололо. Сердясь, он полез в карман за табаком, заскрипел конторкой.

— Ши-шши-ши... — зловеще зашипел сосед последней скамьи. Антон посмотрел на него, ему почудился мизгирь с гнилыми зубами, ехидной усмешкой, — и беспокойство усилилось.

А когда позвали к столу военкома, и тот в веселом звоне шпор, гибко покачиваясь, подошел и улыбнулся, — Кашин окончательно решил, что судят не его, а кого-то другого. И ему было страшно продолжать мысль дальше, искать настоящего виновника, у которого, наверное, на лице не улыбка, а ужас, у которого не гнется неловкое, замороженное тело, и уж, конечно, не звенят шпоры на валенках. Военкому задавали вопросы, военком на них отвечал с такой поспешностью, так подробно, как никогда, по Кашину, не может отвечать человек, потерявший совесть.

„Да кого-же это судят?“ — мучительно шепчет Антон, сдерживая в дремоте дыхание. Ему не хватило воздуха захотелось вздохнуть шумно и глубоко. — и не было смелости. Задыхаясь, он схватился за ворот рубахи, тихонько дергал его, качая отяжелевшей головой. И когда непонятный страх оборвал бешеный, инстинктивный вздох, он всхлипнул и пополз с конторки на пол.

— Ти-шше! — свистящим шопотом зашипел сосед.

— Вор! Вор! Вор!.. Убить мало! — захлебнулся кто-то в собачьем визге.

„Меня судят“... — покорился в безумном бреде Антон и сел в углу на корточки. Он больше не сдерживал дыхания, не играл в прятки с самим собой, — в пылающей темноте со-

знания проплыла Поленка и свистящим шопотом рассказала суду отвратительную правду об Антоне. И ее хрип поддерживала лохматая Матрена. Размахивая кочергой, она наступала на Кашина и визжала.

— Я законы-то совецки зна-аю..! Ну-ка, тронь, ну-ка, тронь?!!

Потом пронесли окровавленного Еню. Он качал рыжей головой и просил суд простить Антона.

— Молод... нельзя так. Со всяким бывает. Я старик, в партии недавно состою и порядков ваших не знаю... а только по-моему простить надо... Потому, молод!

„Какой-же ты, Еня, старик? — хочется крикнуть в безумстве Кашину. — И в партии ты не состоишь! Все врешь!“ — Но ему жалко себя и он шепчет: — Верно, верно, Еня...

А судьи шумят и смеются.

И вдруг все стихает. Кто-то плывет, ломая, как лед, ряды. Кто это такой большой, с трубкой в зубах, от которой сизый дым стелется сзади как у парохода? Неужели Михайло? Но почему у него такой тонкий и нервный голос, как у... Невского?

Он говорит долго и красиво. Он защищает Кашина.

„Ведь, вот, какой добрый! — в радостном удивлении ворочается в углу Антон. — И за что?.. Я ему в хозяйстве не подсоблял, только языком наболтал. А он... меня...“ — В чудном полусне кто-то душит Антона за горло. Но какое же приятное это удушье! Будто Поленка, выздоровев, обнимает его за шею и в сладостном томлении, задыхаясь, он целует ее горячую пугливую грудь.

— Ваше время истекло... товарищ!

Опять Поленка! Разве она судит? И почему не дает Михайлу говорить? „Поленка, Поленка, что ты делаешь? Ты судишь меня! — мечется в углу тоска и ужас. — Поленка, милая, неужели тебе не жалко Антона?“

— Кончайте, товарищ! — приказывает Поленка, и голос у ней строг, точь-в-точь, как у Рожко.

И вот, говорит другой, такой знакомый и любимый человек. И он, любимый, выносит приговор над Антоном, самый страшный, самый неласковый.

— Вору нет места в наших рядах!

— Я не вор! — в бешенстве кричит Антон и царапает ногтями стену. — Я ничего не украл! Только дом... Возьмите его пожалуйста, возьмите.

Безумный бред неумолим, в безумном бреде никто не слышит. Цветут алые точки в глазах звездочками, в дикой пляске они превращаются в круги, бешено вертятся и вместе с ними вертится пылающая голова Кашина. Он хочет остановить эту противную карусель, сжимает голову руками, давит виски, а крутящиеся круги над ним издеваются, выволакивают из угла скрюченное тело и танцуют мучительную кадрили.

— Я предлагаю исключить из партии... — говорит знакомый и любимый человек.

И Кашин отчетливо видит, как алые круги вдруг прекращают бешенный бег, сцепляются в цепь и она грохочет, падая на пол. „Кольчику по кольчику... И я хочу остаться кольчиком!“ — тоскует в припадке Антон и гладит алую цепь. Пальцы обжигает горящее железо, а слух — до боли громкий выстрел. Он чувствует какое-то облегчение, разрывает сумасшедший бред.

— Что такое?

Ряды голов сломаны, сломана тишина: эхом выстрела бужует собрание.

— Он убил Курапова! Боже мой! — визжит на крайней скамье шипящий сосед и низко наклоняет голову. — Ах, он сейчас будет опять стрелять!

— Убит Курапов?

— Да, нет! Он себя убил!

— Курапов жив?

— Себя...

— Но, может быть?!

— Товарищи, товарищи...

Роняя скамьи и давя друг друга, продираются к двери, к президиуму. В гаме неприятно режут слух рыдания женщины.

„Рожко!“ — догадался Кашин и с остервенением прокладывает в людском месиве путь к спокойному розовому свету лампы. У него кружится голова и подламываются ноги. „Заболел... Неужели тиф? Ах, ты...“

В досаде локтем больно ударяет чужую спину.

— Осторожнее, товарищ! Будьте повеж...

— К чорту! — бранится Кашин, работая плечем и локтем. — Какая тут вежливость!

У президиума его прижали к стене. Отвоевывая место ближе, он придавил ногу Юрию Васильевичу.

— Кашин! — закричал Невский, размахивая шапкой и не чувствуя боли. — Вы слышали мою речь? Я предупреждал... Они виноваты... Это чорт знает что такое! Вы знаете...

— Давай, Невский, напред. Здесь ничего не видно, — предложил Антон, обрывая жалобу.

— Давайте, давайте! А кто там плачет?

— Рожко...

— Ах, как глупо! Идите, идите, я останусь здесь. Как глупо...

В черной луже Сергеев лежал с разнесенной головой. Руки его, с жадно растопыренными пальцами, тонули в крови, левая нога согнулась в коленке, правая откинулась в размашистом шаге. Кашину почудилось, что военком споткнулся, упал и хочет встать.

В колеблющемся овале любопытных глаз шопотом сердились:

— Не толкайтесь, дайте посмотреть!

— Куда лезите, куда лезите? Вам отлично видно!

— Вы наступили мне на ногу!

— Ах, боже мой, да, ведь, не бал!

— Я ничего не вижу, пожалуйста, наклоните голову...

— Не толкайтесь, я-ж вам говорю!

Антон оторвал взгляд от черной лужи, поймал шопотки, и ему стало противно. Рядом с ним, поднявшись на цыпочки, вытянул худую шею почтовик. У него были прищуренные от напряжения глаза и широко-раскрытый рот. Из углов рта, спутанной бородке, текла слюна, он подлизывал ее, кашлял и улыбался.

Кашин оглянулся, — за столом президиума Курапов поил Рожко. Кусая звякающий стакан, она плакала.

— Бедняга, он испустил свою вину! Ах, бедняга! — скорбно прошептал чахоточный почтовик.

— Унести военкома! — разорвал Антон противный овал жадных глаз. — Собрание у нас или...

— Орудуй, Кашин! — отозвался из-за стола Илья. — Я сейчас... Алексей, помоги ему!

С явной неохотой ближние положили тело военкома на шинель и понесли.

— Дайте посмотреть! — пробивался к мертвецу толстенький завфиноотделом. — Я еще не видал. Дайте посмотреть... да, пустите же, товарищ!

— Я тебе посмотрю! — рассвирепел Антон, хватаясь за кожаную тужурку, такую же черную, как кровяная лужа на полу.

— Дай дорогу!

Они сцепились в бессмысленной матерщине.

Алексей, Курапов и еще десяток услужливых рук понесли военкома из зала.

— Продолжайте собрание! — распорядился Илья, протискивая в двери мертвую ношу. — Мы скоро вернемся. Рожко, пусть Чекалов ведет собрание, тебе трудно...

Рожко досадливо отмахнулась. Ей было стыдно за свои слезы и за то, что Курапов на глазах у всех так о ней заботится. Она еще чувствовала на талии его большую добрую руку и ей не захотелось поправлять мятое платье. Стараясь не шевелиться и невольно наслаждаясь ощущением следа чужих рук, она объявила собрание продолжающимся.

— Сделать перерыв! — предложили сзади, неуспевшие посмотреть на мертвого военкома.

— Только один вопрос остался, стоит-ли, товарищи?

— Не надо!

— Стоит, стоит!

— Голосую... Кто за перерыв? Кто против?... Больше. Переходим к обсуждению вопроса об организации политического кружка при клубе. Дело, товарищи, в следующем...

„Вот и все. Как будто ничего и не было. Она ревела, а сейчас делает доклад запросто, как всегда. И все мы ее слушаем, будем выступать в прениях, и нам нет никакого дела до того, что военком застрелился... Маленько посуетились, поругались — и кончено. Вот, что значит партия!“ — Кашину удобно сидеть вблизи президиума. Он немного устал и потому покой собрания особенно приятен.

Собрание обстоятельно обсуждало программу политического кружка и порядок занятий, когда с треском открылась дверь и, человек, засыпанный снегом, не успев оторвать рук от скобки, по женски-произительно крикнул:

— Комиссара убили!

Крик был неожиданный и такой противный, что собрание ахнуло. Многие вскочили и почему-то зажали уши. точно ждали оглушительного выстрела. Рожко не вдруг вспомнила о стакане и позвонила.

— Не мешайте, товарищ! Все знают, что военком застрелился..

— Как так, застрелился? Его убили! Я сам видал.

— Товарищ Рожко, это санитар Ежиков, он пьяный..

— А-ах, дьяволы! — завизжал Ежиков, сдирая шапку. Оторвавшись от двери, он запрыгал к президиуму. — Я — пьян?.. Да будьте вы прокляты! Мужики продкомиссара.. убили! Санитаров убили! В Краснознаменной волости восстание... Сюда идут! Иду-ут... Иду-у-ут!!!

Измученные неожиданным самоубийством военкома, люди не нашли в себе силы сдерживать животный страх. Он прорвался немедленно и некрасиво. В жалобном вое оглушительно крикнули:

— Спасайтесь!

И этого было достаточно. С передних скамеек ринулись к дверям, застряли в них. Первая жертва паники, растоптанная неистовствующими сапогами, диким воплем смутила и тех, кто еще крепился сидеть на собрании.

— Товарищи, спасайтесь! Спасайтесь!!!

В грохоте падающих скамей, в вое и в визге Ежикова, точно с радостью повторявшего на разные лады — „Восстание... восста-ни-и-е-е..“ — роль председателя собрания Рожко была очень жалкой. Вначале, как и всех, ее оглушила ежиковская новость, она пропустила момент, когда нужно было взнудать собрание; и когда спохватилась, было уже, конечно, поздно. Она разбила стакан, вызывая порядок, поранила пальцы. Вид крови вызвал у ней головокружение. Сваливаясь на стул, она поняла, что никогда не простит себе эту ошибку, и заплакала.

— Курапов, Курапов! — выкрикивала она, давясь слезами. — Я не могу руководить. Они меня не слушаются... Курапов!

Тут она вспомнила о третьем члене президиума и с трудом повернула голову на право, к мягкому креслу, в котором сидел Чекалов. Кресло пустовало.

„Убежал! Все убежали.. Что-же я сделаю одна? Ах, как мне нехорошо!“ — Обсасывая сочащиеся кровью пальцы, она уронила голову на жесткий стол. Волосы больно дернуло. Принимая эту боль за нечаянный удар о стол, она плотнее прижала пылающий висок к холодным складкам материи, но боль повторилась еще сильнее, — она поняла, что ее тащат за волосы.

— Мне больно! — прошептала Рожко, сопротивляясь. — Оставьте!

Не слушаясь, чужая рука грубо скрутила волосы на затылке и тряхнула непокорную голову. Рыдая от боли и гнева Рожко поднялась.

На нее щурились знакомые близорукие глаза, но странно блестящее и безразличное.

„Как он смеет?.. За что?“ — возмутилось все ее существо, на миг забывая о панике, она в гневе подняла руку, чтобы ударить.

— Отойдите от стола. Я попробую их...

Она осознала все свое ничтожество, стыд обжег мокрые щеки. Спеша, оттолкнула холодные, скользкие руки.

— Я сама.. пустите... Я сама!

Нетерпеливо и небрежно, как вещь, которая мешает, он швырнул ее. Она с размаху отлетела в сторону, задела за кресло и, падая вместе с ним, безвольная и жалкая, отчетливо слышала знакомый пронзительный голос.

— К порядку! Собрание продолжается!

Никто не обратил внимания, а скорей всего и просто не расслышали этого призыва. От дверей шел стон. В киселе человеческих тел, потерявших в страхе разум, счастливицы просачивались в коридор, попадая из огня — в полямя. Курапов и Алексей с группой коммунистов били их, заставляя идти обратно.

В бессильной ненависти разодрал он красное покрывало на столе и с ужасом убеждался, что вернуть на собрании порядок не удастся.

— Невский.. Товарищ Невский!

Он поймал этот приближающийся крик, инстинктивно отыскал его источник. Кричал Кашин, с поднятой рукой пробираваясь к президиуму. Рука показалась Юрию Васильевичу нечеловечески длинной. „Что у него? Револьвер?“ — и догадавшись радостно торопил: — Скорей, скорей!

Кашин выстрелил. Лампа потухла. Выстрел и темнота ударили по обезумевшим людям и парализовали их. Стало совсем почти тихо.

— О-о! на гру-удь на сту-у...о-о! — хрипел в дверях за-
давленный.

Невский набрал в легкие до отказа воздуха и вырвал из
глотки оглушительный окрик.

— К порядку! Собрание продолжается!

И, поддаваясь выстрелу, темноте и очень громкому, власт-
ному голосу, этой простой, дисциплинирующей фразе, люди,
еще не отступая от двери, повернули головы. Они не знали,
чей голос, но каждый подумал, что это Курапов и каждому
стало легче. И вдруг заныли избитые плечи, раздавленные
ноги, и захотелось еще раз услышать режущий голос и
ободриться.

— К по-ря-дку! — затяжисто пропел приятный голос.

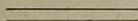
— Стрелять буду! — отозвался второй, хриплый и угро-
жающий. — Закрыть дверь!

— По ме-еста-м! — протянул снова первый тише и
спокойнее.

— Все по местам! По местам! По местам! — подхватили
радостно из темноты.

И было уже поздно людям снова бросаться к двери, бить
и мять друг друга. Они слабо зашумели, отступая к скамьям;
это был приятный шум стыда и рассудка.

— Собрание продолжается... — устало и совсем тихо со-
общил Невский, потирая голову. — Товарищ Кашин, зажгите,
пожалуйста, лампу...



КОНТРАБАНДА.

На синем, бездонном—
Слепая луна...
В лесу, за кордоном—
Чужая страна.
Под жирной листвою
Плаун да лишай...
Не спи, часовой,
Не дремли, не плошай:
Молчанием лживым
На зареве ягод
Трясучка наживы
Приводит бродягу.

* * *

Кордонник, минуты
Одной не совей!
Украдена утварь
Из толстых церквей.
В котомке пирата,
Сверкая, застыли
Кулоны, караты
Дворянских фамилий...
Высокой травой,
Тропою гадюк,
Выносит он к озеру
Ценный свой тюк.
На отмели тайной,
Известной немногим,
Блистают его
Голенастые ноги.
Уходит снеток
От него в глубину...
И легкий челнок
Разнимает волну.

* * *

Слепая луна—
Надежный наводчик...
Чужая страна
Открывается ночью,
Одетая в муть,
Покрытая мохом...
Нагретая грудь
Открывается вздохом.

* * *

С чужой боровины
Не страшно послушать,

Как шлепают в тину
Семейства лягушек,
Как прядают звери,
Пугаются векши,
Опасность почуяв
В листве... Человек-же,
Он смел, он пробрался
Без румбов, без карты
В чужую страну,
Одержимый азартом.

* * *

И камешек яркий—
Дворянский алатырь—
Продаст он за марки,
Латвийские латы,
Что б снова назад
Плыть и итти
С шелком-фанза
И либерти...

* * *

Кордонник, минуты
Одной не совей:
Украдена утварь
Из белых церквей...
Крестище наперсный
Стал лентами в косы,
Он стал фильдеперсом,
Он стал филдекосом...
Под жирной листвою
Плаун да лишай...
Не спи, часовой,
Не дремли, не плошай!

* * *

На синем, бездонном—
Слепая луна...
В лесу, за кордоном
Кряхтит тишина...
— Эй, кто там?!
Безмолвие...
— Сказано: стой!..
Сверкнула винтовка,
Завыл сухостой.

Псков—Иваново-Вознесенск.

ТВОРЧЕСКИЕ ПУТИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Великая эпоха социалистической реконструкции, эпоха непосредственного строительства социализма изменяет не только внешние формы человеческого общества, но изменяет и психику, идеологию общества. Отжившая форма экономики—капитализм—уступает место новой—социализму.

Рушатся вековые уклады жизни и отношения людей. Частная собственность, а вместе с ней и выросшие на ее базисе этические нормы, уступают место новым производственным отношениям, при которых нет частной собственности ни на орудия и средства производства, ни на человеческую личность.

Этот процесс протекает в обстановке ожесточенной классовой борьбы когда отживающие классы мобилизуют все свои силы, все резервы для защиты и контр-наступления. Страна гигантскими шагами идет к социализму, к решительной и окончательной победе. Но путь к этой победе не легок. Необходимо величайшее напряжение всех сил строителей социализма, особенно ведущего передового отряда—пролетариата.

Активная борьба за социализм, это—стиль, содержание нашей эпохи. Борьба происходит не только на главных, узловых пунктах (экономика), она расширяется и углубляется по всему фронту, захватывая самые потаенные, самые, казалось бы, забытые уголки жизни.

Наступающий социализм теснит врага широким фронтом, сбивая его со всех позиций. За политической революцией (захват власти) следует революция культурная, техническая

Мы видим уже контуры нового общества, социалистического общества.

* * *

Происходит острая борьба и в области литературы. Литература, как искусство в целом, была и еще отчасти остается одним из последних убежищ сбитого и отступающего с главных позиций врага.

В „окопах“ литературы пытались и еще пытаются отсидеться как те, для которых Октябрьская революция была „чудовищной случайностью“, так и те, которые потеряли вкус и аппетит к нашим дням, которые рассматривали революцию как „смерч“, освежающий шквал и не больше. Но чудовищная „случайность“ оказалась железной закономерностью, а „грозный шквал“—непрекращающимся штормом, лишенным всякой романтической привлекательности.

Штурмующие колонны революции проникли в „окопы“ литературы.

* * *

Вопрос—с кем ты?—стал актуально, категорически перед теми, кто до сих пор ходил в звании „попутчика“. Это звание было присвоено многим писателям, воспринявшим самый факт революции. До поры до времени подавляющее большинство попутчиков тянулось за пролетариатом. Первоначальный этап революции—гражданская война—являлся основной темой большинства попутчиков.

Но кончилась гражданская война, пролетариат с ожесточением стал залечивать раны разрухи, причиненные империалистической и гражданскими войнами.

И перед попутчиками встала задача переключиться на новую тематику. Теперь надо, пожалуй, совершенно открыто признать, что задача эта попутчиками первого призыва (Пильняком, Вс. Ивановым и многими другими) решена далеко не верно.

Когда мы перешли к нэпу, многим из попутчиков показалось, что, вводя нэп, мы сдаем позиции, восстанавливаем власть кулака в деревне и капиталиста в городе. Эта близорукость оказалась для многих гибельной. Не осознав гениальной стратегии революции, они оказались в плену собственных заблуждений, и как кроты, принялись рыть ходы в сторону врагов революции. По этим ходам многие и вернулись в „лоно Авраамово“.

Наиболее законченный пример подобной эволюции писателя-попутчика дает нам судьба Пильняка, начавшего с олицетворения революции, в виде „Мятежа“, „Пурги“, и кончившего „Синим морем“ и „Красным деревом“, где восхваляется враг и осуждается революция.

Болезненной тропой шло творчество Вс. Иванова, блуждавшего и до сих пор блуждающего в мистических дебрях, в „потемках“ человеческой психологии и патологии.

С большими провалами, сомнениями, колебаниями развивалось творчество К. Федина, Леонова, Бабеля, Сейфулиной. За последний год мы почти не видим многих этих имен в толстых журналах, а если изредка они и появляются, то только затем, чтобы еще сильнее разочаровать („Расплата“ Сейфулиной, „Новый Мир“ за 1929 г.).

Большинство старых попутчиков в настоящее время находится в состоянии творческого кризиса, порожденного неумением включиться в темп нашей жизни, осмыслить и разобраться в происходящем.

Некоторые из этой группы писателей очутились непосредственно в лагере наших врагов—в „окопах“ буржуазной литературы (Пильняк).

* * *

Усиление классовой борьбы в стране, как известно, процесс двусторонний—пролетариат наступает, классовый враг (кулачье и буржуазия) сопротивляется и делает попытки к контр-наступлению.

Отражение этой борьбы мы видим в литературе. Последние годы наша рапповская критика неоднократно отмечала рост новобуржуазной и мелшанской литературы. Такие журналы, как „Красная Новь“, были надежным „окопом“ для творчества Сергеева-Ценского, сумевшего в течение двух лет написать ряд замечательных пасквилей на революцию и социализм („Обреченные на гибель“, „Лавлин“ и др.). Находили себе издателей и другие из этой же писательской стайки. Мы видели изданными „сочинения“ С. С. Заяицкого „Жезнеописание Степана Александровича Лососинова“, Александра Лугина „Джиад“, того же Сергеева-Ценского „Поэт и чернь“. Мы имеем целую „дербмонтовскую серию“, где авторы ее во-всю распоясываются в своих мелшанско-романтических, индивидуалистических устремлениях. В этот же период переиздаются такие „маститые“ писатели, как Клюев, творчество которого—сплошная идеализация кулацкой деревни.

Издательство „Прибой“ выпускает книгу стихов Н. Клюева „Изба в поле“.

В перекличку с творческим мракобесием Н. Клюева вступает творчество С. Клычкова, современного „барда кулацкой деревни“. Его романы „Сахарный немец“, „Князь мира“, „Чертухинский балакирь“ проникнуты стопроцентной идеологией кондового кулачества. Напрасно вы будете искать каких-либо признаков новой деревни. Ни одного звука, ни одного намека об этом нет. Зато в избытке рассыпаны „перлы“ клычковской философии, философии националиста-великодержавника. В ней вы найдете и звериную ненависть к городу, и неприязнь к науке, и нерушимость от „бога данных“ порядков на земле.

* * *

Буржуазная, кулацкая литература успела расцвести довольно пышным цветом за эти годы. Только в самое последнее время (какие-нибудь полгода) мы видим, что тревога, поднятая рапповской критикой, находит поддержку со стороны общего фронта марксистской критики.

Надо полагать, что в новой резолюции ЦК партии этот момент будет соответственно отмечен и не останется места для взглядов псевдо-марксистов, типа Горбова, который в книге, называющейся „У нас и за рубежом“, заявляет следующее:

— „За краткий период своего существования пооктябрьская художественная литература необычайно возросла количественно, при этом то, что раньше существовало в виде разрозненных звеньев, теперь сомкнулось в одну неразрывную цепь, каждое звено которой необходимо уже по одному тому, что оно является выражением определенного общественного слоя в стране строящей социализм... При этом, что особенно важно, каждое звено остро и каждым годом все острее ощущает свою связь с целым...“

Продолжая наше сравнение пооктябрьской художественной литературы с потоком, стремлящимся к единой цели, мы можем сказать, что период, когда наша литература пребывала в виде целой системы ручьев, пробивающих себе путь по неровной почве, каждый за свой риск и страх, зачастую без нужной перспективы—этот период давно позади. Отдельные разрозненные ряды слились в один общий поток, имеющий единое направление. Каждая струя этого потока вовлечена в общее стремление к единой цели“.

— Здорово! Значит, долой классовую борьбу, долой рознь, да здравствует мир и благоволение в человеке!

Пильник, Замятин, Сергеев-Ценский, Федин, Фадеев, Лебединский, Ляшко, Жига, Маяковский, Сельвинский, Клюев, Клычков—все это *единый поток*, стремящийся к единой цели!

— Экая христианская терпимость, экое благородство и возвышенность!

* * *

Чтобы закончить вопрос о попутнической и буржуазной литературе, необходимо еще упомянуть о новых кадрах попутчиков, пришедших в литературу уже к концу восстановительного периода; наконец, необходимо остановиться на общих судьбах попутничества.

Совершенно правильно отмечает тов. Авербах, когда пишет, что „писатели-попутчики, пришедшие в литературу в начале нэпа, воспитавшиеся в действиях военного коммунизма и гражданской войны, в целом значительно отличаются от нового поколения попутчиков, приходящих в литературу в конце восстановительного периода, в эпоху начала органического строительства социализма“ („С кем и почему мы боремся“, стр. 55).

Если в начале революции от попутчика достаточно было одного факта признания факта Октябрьской революции, чтобы мы его называли писателем-попутчиком, то теперь, в эпоху социалистической реконструкции, этого мало. Современности надо предъявить кое-что более конкретное. Надо, чтобы писатель показал, как он идет с пролетариатом, с революцией; писатель должен проявить активное участие через творчество в строительстве социализма.

Довольно заниматься только одним исследованием темных извилин человеческой души, его звериной природы, как это делает Вс. Иванов! Довольно изображений только прошлого, хотя бы исторически и важного, как это делает Ал. Толстой.

— Покажите нам сегодняшний день или даже вчерашний, но так, чтобы чувствовалось дыхание нашей эпохи, чтобы слышалась железная поступь новых дней.

Может быть некоторые „критики“, прочтя мои слова о требованиях, предъявляемых попутчикам, завоят, что требования непомерные, что они мыслимы только в отношении пролетарских писателей и т. д.

Спешу заранее успокоить: было чрезвычайно опростетливо предъявлять писателю-попутчику реконструктивного периода те же требования, которые мы предъявляем пролетарскому писателю. Это значило бы стирать грань между попутчиками и пролетписателями, что политически неверно и просто опасно. Наши слова о показе сегодняшнего дня надо понимать только, как требование *показа современности во всем его многообразии*.

Иначе новый, растущий и культурно и политически пролетарский читатель предаст забвению тех писателей, которые не успеют или не захотят перестроить свое творчество на новый путь. Уже писатель-попутчик постепенно вытесняется пролетписателем.

Но в среде писателей-попутчиков мы видим новые имена, слышим новые песни. Малашкин („Севастополь“), Н. Огнев („Дневник Кости Рябцева“, „Три измерения Калерии Липской“), М. Слонимский („Средний проспект“), Ю. Олеша („Зависть“), Н. Тихонов, группа конструктивистов (Сельвинский, Луговской, Багрицкий и др.)—это те писатели, которые находятся на левом фланге попутничества, в природе которых заложены возможности очень глубокой эволюции.

„От пролетариата не уйти нам теперь.
По возрасту, по пульсу, наконец, по идеям,
По своей, наконец, социальной судьбе.
Товарищ! Кто же там? Стоящий ва верфях?..
Вдувающий в паровозы вой,
Обдумайте нас, почините нам нервы
И наладьте в ход, как любой завод,
Чтоб и мы имели право любить свою республику,
Как в речах и статьях ее любят верхи,
И выйти из желтого кадра пухленьких
Честных плательщиков МОПР и Доброхим“ *).

Леопольд Авербах совершенно прав, когда говорит, что „новому поколению попутничества действительно не уйти от пролетариата“. Это, правда, не значит, что они застрахованы от каких-либо ошибок, срывов, уклонов. Нет, они очень часто встречаются в их творчестве. Возьмем хотя бы „Зависть“ Юр. Олеша, произведение, где носителем социализма показан делегата-коммунист Бабичев, ходячее выражение правого уклона в практике.

Еще больше недоумений вызывает „Пушторг“ Сельвинского, в котором взята неверная установка, искажающая отношение партии к специалистам и интеллигенции.

Но потому-то мы и называем этих писателей попутчиками, что в их творчестве есть сомнения, колебания, уклоны, непонимание и проч.

Тем не менее, эта группа—группа подлинных попутчиков революции реконструктивного периода.

* * *

И совершенно не случайно читаем в декларации Всероссийского союза советских писателей:

„Нет больше всероссийского союза писателей. Существует, укрепляется и развивает свою деятельность Всероссийский союз советских писателей. Он должен стать одним из сильнейших отрядов культурной революции“.

Жизнь диктует новые условия, новые требования. И право в этой жизни имеют только те, кто идет вместе с ней. Всех сопротивляющихся, нейтральных она сбросит со своих счетов

* * *

Переходя к пролетарскому сектору литературы, надо открыто заявить, что к пролетарской литературе, особенно к творчеству молодых писателей относятся еще иронически, невнимательно, с барской снисходительностью

*) Сельвинский.

Пролетарская литература—неоспоримый факт сегодняшнего дня. Она существует, развивается и совершенствуется так же, как существует и совершенствуется в социалистическом строительстве пролетариат.

Истекшие два года были первыми годами осознанных поисков как новой формы, так и новой тематики нового героя. Пролетарская литература достигла того положения, когда она, бурно преодолевая и критически усваивая наследие прошлого, успешно отыскивает новые методы и формы литературного творчества.

Буржуазная литература оставила нам несколько литературных стилей (манеры) письма.

Отбрасывая в сторону сомнительные достижения буржуазной литературы последних десятилетий, когда явственно обозначился кризис буржуазного общества, назовем три основных литературных стиля—романтизм, реализм и натурализм.

Если романтизм эпохи „Бури и натиска“ (XIX ст.) соответствовал тому периоду развития буржуазии, когда она лишь утверждала свое господство, как класса-монополиста, а натурализм, вышедший из недр реализма, был литературным выражением начала упадка буржуазии, началом исчерпания его исторической роли, то реализм—это бурный расцвет буржуазной литературы.

В чем особенности этого стиля? Это показ людей и отношений между людьми такими, каковы они есть, без всяких прикрас. Один из наиболее ярких представителей этой литературной школы французский писатель Флобер говорил, что к человеку нужно подходить так же, как естественники подходят к животным.

Однако, у писателей этой школы были два существенных недостатка. Первый—их буржуазная, дворянская ограниченность, не дававшая им возможности понимать массу. Второй—это ограниченность их метода изображения, который, по словам Пеханова, заключался в том, что „действия, склонности, вкусы и привычки героев эти авторы объясняли либо физиологическими (естественными), либо патологическими (болезненными) факторами, забывая об общественных отношениях“.

Основная установка реалистической школы—показ живых людей—наиболее соответствует стилю и содержанию нашей эпохи, не нуждающейся ни в романтических покрывадах, ни в натуралистическом копательстве. Но в то же время должно быть ясно, что механическое пересаживание всех приемов этой школы в нашу пролетарскую литературу недопустимо.

Это прекрасно понял А. Фадеев в своем „Разгроме“, написанном в реалистическом стиле и насквозь пропитанном светом диалектико-материалистического понимания действительности.

„Разгром“ явился пограничным пунктом дальнейшего развития пролетарской литературы. За ним появились: „Преступление Мартына“ Бахметьева, „Бруски“ Панферова, „Гихий Дон“ Шолохова, „Лесозавод“ Караваевой, „Поворот“ Лебединского, „На мартенах“ Шведова, „По ту сторону“ Кина, „Первая девушка“ Богданова, „Последний из Удэге“ Фадеева, „Юр-Базар“ и „Обида“ Шведова, „В дороге“ Платошкина, ряд художественных очерков (Ставский, Жига и др.).

За сжатостью статьи не станем подробно останавливаться на каждом из этих произведений. Подчеркнем лишь наиболее характерное в этих произведениях.

Что характерно во всех этих произведениях?—Это тематическая и методическая установка пролетарских авторов. В отношении тематики пролетарские писатели далеко шагнули вперед по сравнению с попутчиками. Все больше темы пролетарской литературы отвечают на узловые вопросы социалистического строительства, все больше центральное место отводится главному участнику этого строительства рабочему. Методы работы пролетарского писателя все больше заостряются в своей четкости, как методы последовательно материалистические.

Одно из последних произведений Анны Караваевой „Лесозавод“ посвящено современной деревне. Автор сумел с большой художественной правдивостью показать процесс перевоплощения людей грязной, отсталой, бедной деревни под влиянием великих изменений и преобразований нашей эпохи.

Несколько слов хочется сказать по поводу напечатанных глав нового произведения Фадеева „Последний из Удэге“.

В основном Фадеев продолжает линию художественного показа людей, взятую еще в „Разгроме“. Типы отдельных партизан, особенно удэгейцев, выпуклы и реальны, — их ощущаешь, как живых людей. Автор уверенно владеет палитрой художественных красок, — его тайга так же живет, как и люди, населяющие эту тайгу.

Только критика литературных завистников или крикунов способна заявлять, что в „Последнем из Удэге“ Фадеев не пошел дальше своего „Разгрома“. Абсолютно неверно. Новое произведение Фадеева — поступательное движение вперед.

И „Разгром“, и „Последний из Удэге“ дают ясно представление, как надо, владея реалистическим методом показа, преодолевать классические образцы буржуазной литературы. Что характерно в манере творчества А. Фадеева — это отталкивание от романтизма, снятие его покровов, разоблачительство.

За истекший год наша литературная молодежь, третья смена пролетарских писателей, дала несколько неплохих произведений — „Обида“ Шведова, „Болтовня“ Овалова, „Бывший герой“ Чумандрина, отчасти „Первая девушка“ Богданова, „В дороге“ Платошкина, „Ячейка“ Горбатова.

„Обида“ это третье по счету прозаическое произведение Шведова, ранее известного, как поэта. Каждое новое произведение Шведова — прозаика показывает, что растет и крепнет писатель. Если в первой шведовской повести „На мартенах“ мы обнаруживаем у автора романтические увлечения, бедность языка, поэтизирование люмпен-пролетариата, композиционную беспомощность, то уже в „Юр-Базаре“ и особенно в „Обиде“ эти недостатки постепенно сглаживаются — его любовь к сказу и поэтизация блатной речи заменяется спокойной манерой повествования, его романтическое увлечение люмпен-пролетариатом теряет свою прежнюю остроту.

Шведов весь в движении, он растет, и в нужную для нас сторону.

В „Первой девушке“ Богданов показал себя, как талантливый художник. После первых литературных опытов (рассказов) Богданов сразу шагнул далеко вперед.

„Первая девушка“ — это романтическая повесть о комсомоле. А отсюда все качества и недостатки. Богданов дал свежее, заражающее своей эмоциональностью произведение — это сильная сторона автора. Но, изображая деревенский комсомол, автор допустил ошибку, вытекавшую из манеры письма, из стиля. Романтическая установка автора привела к ряду фальшивых, натянутых положений и прежде всего к неверной характеристике героини повести (таких девушек в деревне не сыщешь).

Богдановская „Первая девушка“, как и платошкинский роман „В дороге“ — произведения, в которых авторы ставят определенную проблему — требование повысить цену на человека. Эти тенденции характерны почти для всей комсомольской литературы — Кетлинская, Горбатов.

Однако, степень полезности проблематической литературы далеко не одинакова. Если авторы „Первой девушки“ и „В дороге“ дали хотя бы наметку поставленной проблемы, правда, не разрешая ее ни в какой степени, то Кетлинская, автор „Натки Мичуриной“, ставя проблему отношений между парнями и девушками в комсомоле, дает ответ. (но ответ чудовищный по своей обывательской сущности) призыв к теплоте семейному очагу, мещанская идеализация супружеской жизни и т. д.)

Кстати отметим и полную художественную беспомощность автора.

Нам еще остается отметить художественную очерковую прозу, постепенно занимающую в нашей литературе одно из первых мест.

До сих пор на очерк смотрели, как на нечто среднее между публицистикой и „настоящей“ художественной литературой. Этот взгляд существовал почти до самого последнего времени.

Между тем, очерк имеет такую художественную ценность, как и большая литература—роман, повесть, поэма.

Возьмите очерки буржуазного немецкого писателя Казимира Эдшмидта („Баски, быки и арабы“). В них художественный вымысел переплетается с фактами в интересный, иногда причудливый сплав образов, метафор, сравнений. И получается блестящий каскад, фейерверк жизни.

Ошибочно также утверждение, что очерк, якобы, должен пунктуально, как фотографический аппарат или газета, передавать сухие факты. Очерк—это художественное произведение, где на ряду с фактическим материалом хозяйничает и авторское воображение.

Наша пролетарская литература дала ряд живых, выразительных очерков, полных социальной эмоциональности и актуальных по содержанию.

Назовем лучшие из них: „Думы рабкора“, „Новые рабочие“—Жига, „Станица“—Ставского, „С винтовкой и книгой“—Исбаха и другие.

Пролетарская литература в дороге, она растет, творчески ищет.

Она победит.

* * *

Мы были бы не полны, если бы еще не указали на качественный и количественный рост крестьянской литературы, литературы бедняцкой и крестьянской деревни, целиком противостоящей деревенско-буржуазной литературе—С. Есенина, П. Орешина, Н. Клюева, С. Клычкова.

В этот актив крестьянской литературы входят Когин („Девки“), Замайский („Лапти“), Шолохов („Тихий Дон“) и др.

Но этим кратким замечанием, пока, к сожалению, ограничимся, чтобы вернуться к этой теме в другой раз, более полно, особенно в связи с тем, что условия нашей области создают предпосылки к восприятию читателем этой литературы.

* * *

Заканчивая беглый обзор литературы сегодняшнего дня, отметим, что такие вопросы, как принципиальные литературные разногласия как внутри отдельных звеньев пролетарской литературы РАППа—„Кузница“, уже давно переживающая тяжелый процесс обывательского перерождения, так и по линии борьбы против переверзевских—меньшевистских взглядов в области литературоведения, за недостатком места, оставляем в стороне.

СОДЕРЖАНИЕ № 1.

	Стр.
От редакции	3
Александр Киселев—„У памятника Ленину“, стихи	5
М. Шошин—„Астрабат“, повесть	6
А. Благов—„Осенняя поэма“, стихи	34
„ „ „Поселок“, стихи	35
Серафим Огурцов—„Мир дворцам—бой хижинам“, стихи	36
В. Полторацкий—„Тополиный рост“, повесть	37
А. Насимович—„Талка“, главы из романа	59
П. Нечваленко—„На суде“, стихи	74
А. Сумароков—„Будни“, стихи	75
С. Котков—„Директор треста у телефона“, стихи	76
„ „ „На посту“, стихи	76
Л. Феддер—„Разговор в дороге“ (из поэмы „Картофель“), стихи	77
А. Косильников—„О девушке с ключами“, стихи	77
А. Алешин—„Сторож“, рассказ	78
Н. Соколов—„Древонасаждения“, стихи	106
Д. Горбунов—„Рысак“, стихи	107
Дм. Мозжухин—„Осень“, стихи	107
С. Ходько—„Предрик“, стихи	108
Ник. Орлов—„Рельсы“, стихи	108
В. Смирнов—„Гарь“ (главы из романа)	109
Л. Ратновский—„Контрабанда“, стихи	152
В. Залесский—„Творческие пути советской литературы“	153

ЧИТАЙТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

АТАКА

В течение 1930 года выйдет ЧЕТЫРЕ номера.

Под редакцией В. Залесского.

Подписка принимается в ГОСИЗДАТЕ: в Ив.-Вознесенске, ул. Красной армии, 2/4, тел. 5-33, во всех отделениях и магазинах ГИЗ'а, в киосках ГИЗ'а на предприятиях, в экспедициях Газетного Бюро и во всех почтово-телеграфных конторах.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ ИЗДАНИЕ (4 №№) — 5 рублей.

ЦЕНА НОМЕРА В ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ — 1 руб. 50 коп.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ ЕДИНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

„ЕДИНЕНИЕ-СИЛА“

КОМБИНАТ № 1

Учебники для всех учебных заведений.

Литература по всем вопросам.

Комплектование библиотек, снабжение школ, организаций и коллективов.

ФОТО.

КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ СКИДКА.

Магазин открыт с 9 до 17 час. без перерыва.

АДРЕС: Ив.-Вознесенск, Социалистическая ул. Телефон № 2-15.

Писчебумажные и канцелярские товары.

Игрушки, музыкальные инструменты, спортивные принадлежности.

РАДИО.

КРЕПИТЕ ФИНАНСОВУЮ МОЩЬ
РАБОЧЕЙ КООПЕРАЦИИ

И В Е П О

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ВКЛАДОВ
И СБЕРЕЖЕНИЙ ОТ ПАЙЩИКОВ.

По вкладам начисляется от 9 до 12⁰/%.

Прием вкладов производится в комбинате № 5 (здание Ивсельбанка) и коопуполномоченными на фабриках, заводах и учреждениях.

ПОЛНАЯ ТАЙНА ВКЛАДОВ.

17770

исполнено 1929

